

Муретов М. Д.

Из воспоминаний студента Московской Духовной Академии ХХХII курса (1873–1877 г.) профессор Митрофан Дмитриевич Муретов

Заявив начальству Рязанской семинарии о моем согласии продолжать образование в Духовной Академии, я мало заботился о том, в какую Академию меня пошлют. А о Московской Академии я даже не знал, что она находится в 66 верстах от Москвы, в Сергиевом Посаде. Уже долго спустя потом я обратил внимание на то, что наиболее сильное впечатление и влияние на меня имели наставники и начальники из питомцев Московской Академии – Грандилевский и Калинин по словесности и литературе, свящ. Феофилакт А. Орлов – по греческому языку, Садовников – по философии и психологии, в особенности Любомиров – по догматике и инспектор свящ. П. Л. Лосев – по основному богословию. А ректор, прот. В. И. Гаретовский, хотя и читал какие-то длиннейшие и скучнейшие выписки из разных книг и статей по нравственному богословию, но имел благотворное влияние как тем, что освобождал ученические головы от обременения их долблением бесчисленных рубрик учебника Солярского, так и в несравненно большей мере – своим добросердечием, благожелательностью и нежно-отеческой расположенностью к семинаристам, явно под влиянием усвоенного им духа Московской Академии¹.

Уже когда стало известно о назначении меня в Московскую Академию, я стал проявлять любопытство к ней. Припомнилось одно заявление В. И. Любомирова, сделанное им классу под влиянием недовольства невнимательностью слушателей к его объяснениям, что ведь эти объяснения он дает на основании лекций замечательнейшего русского ученого богослова А. В. Горского, ректора Моск. Духовной Академии. А объяснения Любомирова ценились у семинаристов весьма высоко, так что он считался, так сказать, премьером среди наставников. И действительно, приятным баритоном и раздельно-медленной, певучей дикцией он умел кратко, ясно и общепонятно излагать самые трудные и отвлеченные предметы догматики, напр. о предопределении, о свободе воли, о благодати, о происхождении зла и греха, о любви и правде Божией, о

вечности мучений и пр. под. Сначала излагалась история догмата. Потом брались главнейшие и наиболее прямо идущие к делу тексты библейские и подвергались подробному истолковательному анализу. Далее – спорные стороны догмата с католиками и протестантами. Наконец – опровержение рационалистических возражений, философско-логическое раскрытие и обоснование догмата. Это – метода и материал А. В. Горского, как узнал я потом. Ничего подобного прежней долбежке богословами выписанных на отдельные тетрадки текстов из учебника Антония или Макария. Кроме чтения записанных и легко усвоимых объяснений Любомирова мы ничего не учили, хотя официальным учебником значилась краткая догматика Макария.

Объяснения Любомирова были первым моим литературно-научным знакомством с А. В. Горским. И я особенную благодарность имею к незабвенному наставнику семинарии потому, что мне не пришлось слушать самого А. Васильевича: он умер в том академическом году (1875–76), когда мне следовало бы слушать его курс догматики. Странно, что этот курс доселе не издан?!

Затем, при последнем прощании со мной², ректор Гаретовский, с заметным воодушевлением от приятных воспоминаний, сказал: «Прекрасно, что вас назначили в Московскую Академию, – жить там превосходно, – кругом рощи и прекрасные пруды, – есть где погулять с пользой для здоровья, – бывало, всласть и досыта нагуляешься, да и за работу – утром на лекции или к обеду, вечером к столу или конторке за книгу или за сочинение, – профессора – редкой доброты и учености». На мой вопрос: «Кто из них самый замечательный?» – ответил: «Ректор А. В. Горский, – поступайте на богословское отделение, будете слушать его и работать ему по догматике». Совет этот, благодаря Любомирову, был мне по душе. Известно мне было еще только имя Кудрявцева. Но никаких сочинений его я тогда не читал, да и было их в печати весьма мало. Я даже считал его историком и смешивал с профессором Университета.

По выходе ректора, перед ступенями семинарского входа, встретился я с Н. Ф. Глебовым. Он мне тоже посоветовал поступать на богословское отделение. Но на мой вопрос: «Кто там замечательные профессора?» – с обычной своей презрительной ужимкой губ и засверкавшими большими синими глазами резко ответил: «Никого». «А Горский», говорю, – «Кудрявцев?» – Более я никого не знал назвать. «Госский?.. Да, это человек ученый», как-то пренебрежительно заметил Н. Ф., а о Кудрявцеве – ничего³.

С такими скудными сведениями о Московской Академии прибыл я в

Сергиевский Посад на одном из вечерних поездов 12 или 13 августа 1873 года и остановился в номере новой лаврской гостиницы. После мытья и небольшой чистки отправляюсь в Академию. Встретившийся студент строго и решительно заявил, что «папашка» (первое слово, услышанное мной об Академии), т. е. ректор Академии А. В. Горский очень не любит, чтобы новички останавливались в гостиницах, и что надо сейчас же перебраться в академическое помещение и явится к «папашке».

Я так и сделал. С пожитками в небольшом дешевеньком чемоданчике парусинном прихожу в спальные младшего корпуса, где уже были почти все экзаменаты-новички. Надо было сейчас же идти к ректору. Уже вечерело. Двери ректорской квартиры отворил и сделал доклад молодой, изящный и высокий брюнет в чистой суконной паре и белой крахмальной сорочке – служитель Николай⁴. Низкая и темноватая, с плоскими тяжелыми сводами и старинными рисунками и барельефами, обширная и сараевидная, почти без мебели и цветов, ректорская приемная, как и вся квартира, так называемые «чертоги» – произвела на меня впечатление не уютного жилья, а строго-серьезной, даже хмурой, подвижнической обители, лишь временно приютившей у себя какого-нибудь странника и пришельца мира сего.

Таким на первый раз показался мне и обитатель этого «чертога». Из-за тяжелой, темно-красного цвета, портьеры, отделявшей гостиную от приемного зала, появился и медленно, без звука, тяжелой поступью по узкому ковру-дорожке шел, вернее – шествовал приземистый, широкоплечий, несколько грузноватый старец седовласый в шелковой блестящей темно-малинового цвета рясе с белой орденской звездой на груди. Огромная, почти без растительности, круглая и несколько приплюснутая голова, – широкий лоб, – густая, окладистая и длинная серебристая борода, – короткий, прямой и резко-очерченный нос с расширенными несколько ноздрями, – длинные и тонкие губы с высокоподстриженными усами (для совершения Евхаристии). Но особенно сильное впечатление на меня произвели большие, серые, широко раскрытые глаза, устремленные несколько вверх, куда-то вдаль, от земли к небу, или как-бы мимо земных предметов в мир потусторонний, – вообще взор какой-то внутренний, из глубины духа смотрящий и в то же время самососредоточенный, не блуждающий, но как бы остановившийся на чем-то одном, твердом и неподвижном. Такой взор, по-моему, должен быть у людей, после долгих исканий нашедших истину и спокойно ее созерцающих. Наконец густые и длинные седые брови, несколько сдвинутые и нахмуренные, придавали строгий и даже суровый вид старцу.

Величественный образ Святого Отца невольно возник во мне во время медленного и торжественного шествия этого маститого старца, какой-то особенной духовной красотой сиял лик его, и в мрачной приемной как будто стало светлее и приветливее. Потом, при благословении и первом близком взгляде на старца, явилось чувство ученического благоговения к великому учителю, соединенное с детской доверчивостью и сыновним дерзновением к «папаше».

Эти святые минуты оставили во мне на всю жизнь неизгладимое впечатление. Доселе я радостно и благоговейно переживаю их с неослабной силой. Доселе вместе с впечатлениями детства, они составляют для меня предмет самых приятных сновидений. Благодарю Бога, благоволившего мне испытать эти святые чувства!

«Из какой семинарии? – По назначению или волонтер? Как фамилия?» – Эти, по-видимому казенные и официальные вопросы, говорились однако же как-то особенно, ласково, отечески, приятным, как бы женственно-материнским голосом – нежным тенорком. Следовали ответы. Все это в виде беседы как бы равных лиц, при их первом знакомстве, – просто, без всякой начальственной важности и натянутости.

Но дальнейший вопрос, как мне показалось, был дан каким-то другим голосом, наивно-пытливым, пожалуй, детски хитроватым: «Кто у Вас преосвященный и ходил ли я к нему за напутственным благословением?» – Папаша конечно хорошо знал преосв. Алексея, прежнего ректора Академии, и переписывался с ним. Но, наверное, по прежним курсам он заметил, что рязанцы не являются к своему архиерею перед отправлением в Академию. Пришлось смущенно ответить: «нет». – «Почему же?» – Сначала красноречивое молчание, а потом школьническое «не догадался». Вертелось на языке мальчишеское: «меня не посылали», но я все-таки не сказал этого, чем и остаюсь весьма доволен доселе. Последовал обычный в подобных случаях тяжелый вздох папаша, сильнее всяких слов выражавший что подобало. Этот вздох доселе ясно слышится мной и стыдит меня, хотя и за бессознательную неловкость по отношению к рязанскому Преосвященному Алексею. Последним был вопрос: «Не родня ли я преосв. Димитрию Муретову?» На мой отрицательный ответ папаша нежно-материнским тенорком и несколько шутливо заметил: «А хорошо бы иметь такого родственника?» – «Да, не дурно бы», с брусацкой, как кажется мне, и мало отвечающей нежности папаша грубоватостью ответил я. Потом приказание явится сейчас же к инспектору; благословение и конец приема.

Восхищенный, я спустился по широкой лестнице из ректорской

квартиры как-бы с неба на землю. Уже совсем почти смерклось. На площадке, перед инспекторским домом, меня окончательно привел в себя и испугал громкий лай большой цепной собаки, раздавшийся из конуры направо от меня. Налево у дома в полутьме промелькнули две, как показалось мне, стройненькие и хорошенькие девушки-подростки. В маленькой прихожей слышались веселые детские голоса и звуки рояля. Сверху, из светелки, по узкой скрипучей лесенке, тяжело спустилась грузная фигура *господина*, вместо ожидавшегося и привычного мне *отца*, инспектора, заполнившего большую часть прихожей. Все в нем внушительно: рост, объем, басистый голос, тяжелая голова без растительности, круглое большое лицо без бороды и усов, нахмуренные брови, большие карие и строгие глаза, как-то особенно сжатые губы, даже руки и ноги и потертый засаленный халат. По-видимому, господин инспектор был не в духе, может быть не вовремя отвлечен от какой-нибудь спешной работы. «Из какой семинарии? Казенный или волонтер? Фамилия? Идите к эконому.» Кратко, строго, по-военному, марш – без разговоров. Держиморда-инспектор: было первое мое впечатление от Сергея Константиновича, оказавшееся потом всецело ложным, так как он был инспектором добрейшим и благороднейшим на редкость.

В спальнях младшего корпуса, на втором этаже, над номерами, мне вместе с другими экзаменатами были уже приготовлены постель и железная койка, под которой я поместил свой небольшой чемодан. Экзаменаты, в количестве 50 человек, собрались, кажется, почти все. Тут же со всеми перезнакомился и стал на товарищескую ногу, как будто со своими давними приятелями. Многие уже говорили на «ты» и звали друг друга только по отчествам или по имени и уменьшительными именами: Митрич, Ильич, Викторович, Костя, Яков... Прибыли из разных губерний: Московской, Вифанской, Рязанской, Тверской, Витебской, Курской, Черниговской, Минской, Могилевской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Волынской, Ярославской, Новгородской, Калужской, Архангельской, Рижской, Харьковской, Владимирской, Екатеринбургской, Полтавской, Тульской. Эта смесь разноместных молодых людей вызвала живой обмен любопытных сведений. Были люди разных характеров и настроений: от молчаливых флегм до самых горячих сангвиников, – от благочестивцев, ходивших ежедневно и по два раза прикладываться к мощам преп. Сергия, до веселых анекдотистов, потешавших публику забавными рассказами. В этой суতোлке среди беззаботной молодежи потускнел образ «папаши» и сгладилось впечатление первого приема у него.

На первый план выступила забота об экзаменах. Явилось 50 человек, а казенных стипендий было только 30. Для меня содержание на свой счет было невозможно, и я пресерьезно струсил, так что написал отцу, чтобы он на всякий случай выслал за мною подводу на станцию железной дороги в назначенное мной число, не помню какое. Ведь присланные были все из перваков, и волонтерами могли быть только студенты, т. е. перворазрядники. А наш класс в рязанской семинарии составлен был из второй, худшей половины прежнего риторического двухгодичного класса, так что, при преобразовании, первая и лучшая половина перешла во второй класс, а я остался в худшей половине, для образования первого класса.

Всего страшнее представлялись письменные работы, ибо им давалось главное значение при приеме студентов. Бывшие в Академии студенты старших курсов рассказывали, что самые трудные темы дает и наиболее строго относится к сочинениям ректор, – что незадолго перед нами был будто бы даже такой случай, когда все экзаменаты написали ему неудовлетворительные сочинения, – что он заставил их писать вторично, и они были приняты только благодаря малочисленности экзаменатов, явившихся в количестве менее числа казенных стипендий.

Страшный день наступил. Мы собрались в самой большой аудитории, расселись по длинным партам, у каждого были казенные бумага, перо и чернила. Ровно в 9 часов утра величественно вошел инспектор в форменном фраке и торжественно, высоким и могучим басом, возгласил:

«Тема по догматическому богословию:

«Если Дух Святой, действующий в Церкви Христовой, и ныне живет в Ее членах и управляет Ею, то почему первоначальное устройство Церкви должно считаться нормой для Нее, когда в Церкви, как в живом организме, с течением времени могут появляться новые потребности?»

Подать сочинения к 2-м часам». И так же величественно и торжественно вышел.

Длинная и сложная тема ошеломила всех, – и меня. Ее написали сейчас же мелом на доске. Продолжительное молчание. Потом стали перешептываться между собою соседи-земляки, – потом послышался шелест листов, ибо не запрещалось иметь книги и записки, – наконец громкие разговоры и совещания. У меня не было ничего. Но я очень скоро разобрался в теме и постиг ее задачу.

На листе крупного разгонистого письма, где сама тема заняла почти всю первую страницу, я дал приблизительно такой ответ:

Церковь, по учению Ап. Павла (1Кор. 12 гл. Ефес. 4, 10 – 16 и пр.), есть живой организм Тела Христова. А всякий организм живет и развивается по

своему типу-идеалу, служащему для него нормой жизни. Во время жизни и развития организма в нем должны возникать и удовлетворяться только те потребности, кои наперед уже даны в его типе-идеале, всякие другие потребности будут инотипны по отношению к организму, вредны для него и даже убийственны. Так это в растениях и в человеческом теле. Следуют частные примеры и доказательства. Церковь, по учению апостольскому, есть также организм, живущий и стройно растущий под главенством Христа и живым воздействием Святого Духа – в меру возраста совершенного по Христу Богочеловеку, доколе Он вообразится во всех, – доколе Церковь станет полнотою Наполняющего все во всем, и Бог будет все во всем (цитаты). Христос-Богочеловек есть идеал и глава Церкви. Дух Святой – жизненная сила Ее исторического развития, а первоцерковь – наиболее чистое проявление и совершеннейшее осуществление типа Церкви, который и должен служить нормой для всей последующей истории церковного организма. Поэтому Церковью во все, назначенное Ей время жизни и исторического развития, должны восприниматься и осуществляться только те, вновь возникающие, потребности и запросы, что соответствуют Ее идеалу и типу – Богочеловеку-Христу и Первоцеркви. Только такие потребности могут служить к дальнейшей жизни и преуспеянию Церкви на пути Ее исторического движения к своему идеалу. Напротив, все противоречащее идеалу и типу, или уклоняющееся, даже только несоответствующее, – все таковое вредит церковной жизни, замедляет, временно задерживает проявление и осуществление предназначенной Ей полноты Наполняющего все во всем.

Может быть теперь я не с буквальной точностью передаю содержание моего сочинения. Но мысли были изложены такие, в таком логическом построении и таким языком.

Сам я был очень доволен своим ответом, но только до ужина того дня. На послеужинном гулянье в академическом саду меня встретил студент 2-го курса, быстро со всеми новичками перезнакомившийся и словоохотливый туляк. Начал разговор о трудности папашкиной темы спросил, что я написал. Я вкратце изложил содержание моего ответа. Тот как-то сомнительно, даже неодобрительно покачал головой и сказал, что надо бы писать о неповторной полноте даров Святого Духа в первенствующей Церкви и о том, что все нужное для Церкви всех веков проявлено и осуществлено в ней (излагаю своими словами мысли этого студента).

Признаюсь, я сильно струсил от этих слов. Мне показалось неопровержимо-верными и вполне православными эти мысли. Да и кого я

ни спрашивал, все писали так. Напротив, мой ответ мне показался не только неосновательным логически, но и неправославным, неверным догматически.

Струхнул я так, что на следующий день уже самым решительным тоном написал отцу выслать к назначенному сроку лошадь за мной.

Удовлетворил ли мой ответ А. В.-ча и соответствовал ли он его собственным взглядам, я не знаю пока, но он получил хорошую оценку, быть может не за решение вопроса, а только за литературность изложения и логичность построения. В официальном списке сочинения помечены баллами: одно – 4 ½, четыре – 4, четыре – 2, прочие – 3 ½ и 3.

Второе сочинение писалось профессору по теории эстетики и истории литературы иностранной и русской Е. В. Амфитеатрову. Студенты старших курсов нам сообщили, что этот старец очень строго и своеобразно ценит сочинения студентов: надо было непременно писать то, что думает он сам, и языком изысканно-картинным и поэтичным, – что он строгий блюститель старинных литературных преданий, – не терпит никаких новшеств и пр. в том же духе. И действительно, как бы в подтверждение этих слов была дана такая тема:

«Можно ли одобрять усилия современных педагогов об облегчении способов обучения?»

Положение было затруднительное. Написать и раскрыть ответ решительно-отрицательный мне казалось самоочевидной нелепостью. А писать в положительном смысле, значило рисковать удовлетворительным баллом. Решил следовать методу, выражаемой поговоркой: «И овцы целы и волки сыты», по схеме уступительного периода: «хотя-однако». Разделил ответ на две половины. В первой раскрывалась польза новейших дидактических методов обучения (Ушинский и др., ускорение обучения, развитие любознательности, сообразительности, охоты к учению, примерные сопоставления со старыми: буки-он бо-бо-глаголь-ер-Бог, глаголь он-го-го-слово-покой-он-спо-госпо-добро-ер-д-Господь). Во второй говорилось о вреде этих методов: недостаточное развитие в ученике памяти, самостоятельности, трудолюбия, сосредоточенности, настойчивости и пр. Все это было изложено на двух листах (16 страниц) мелкой скорописи, хлестким стилем, со знаками удивления и восклицания, резкими выражениями. И на этом сочинении в списке стоит отметка 4 ½ на моем и еще на двух сочинениях (Зеленева и Мигаева), прочие – 4, 3 и две 2.

Для третьего экспромпта по Священному Писанию тема дана была архимандритом Михаилом, но не помню точно самой темы, – что-то об

истинных и ложных пророчествах, кажется, об отличительных признаках тех и других. Тема простая, шаблонно-семинарская, вернее безтемная, притом подробно и прекрасным языком раскрытая во «Введении Макария», долбившемся семинаристами в 5-м классе. Не о чем было задумываться, я старался только о том, чтобы писать своими словами. Никакого впечатления это сочинение во мне не оставило, – не помню ни его содержания, ни размеров. Но балл на нем стоит выше, именно 5, имеющееся еще на сочинении Перова, затем две 4 ½, четыре 4, одна 2 ½, одна 2, прочие, 3 ½ и 3.

Началась страда экзаменационная.

По догматике экзаменовал А. В-ч с двумя ассистентами: И. И. Казанским и И. Д. Петропавловским. Во время каникул, кроме изучавшихся к семинарскому экзамену – учебника Макария и классных записей дополнений Любомирова, я читал кое-что из большой догматики Макария и догматику Филарета. Предмет этот был в семинарии мной самый любимый, и я хорошо подготовился, – тем более, что в июне приходилось сдавать экзамен в семинарии. Вызывали в алфавитном порядке, и экзамен производился по билетам. Мне достался билет с краткой и общей надписью: «Об ангелах». Билет из самых легких и простых, – тем более, что надпись открывала возможность говорить, что знаешь. Я стал излагать историю учения об Ангелах: сначала по книге Бытия – о грехопадении прародителей и архангеле при вратах рая, – об ангелах, являвшихся Аврааму, об Ангеле Иеговы, – потом по всему пятикнижию, книге Иисуса Навина и другим историческим книгам, по книге Иова, Псалмам, Пророкам допленным и послепленным, по Новому Завету... Тут А. В-ч остановил меня и спросил: «А что же вы молчите о творении Ангелов?» Отвечаю: «О творении Ангелов в Библии не говорится, это – учение свято-отеческое, а не библейское: Отцы под «небом» начального стиха Библии разумели мир небесных духов». Вопрос: «А что говорит прокимен в службе Михаилу Архангелу»? – Я смутился: в семинарии 8-е ноября не праздновалось, и я никогда не был на этом богослужении. Но подумал о пс. 103, 4 и Евр. 1, 7, так как этот текст в каком-то из пособий моих толковался в смысле указания не на творение ангелов, а на служение Богу ветров и молнии. Начинаю нерешительно и запинаясь: «это – псалом"... А. В-ч, быстро перебивая меня: «Да, да... Творяй Ангелы своя и пр.». Очевидно, он заметил мое литургическое невежество и явно торопился подсказать мне. Уже смело отвечаю: «Тут говорится не об Ангелах и их творении, а о том, что Бог всемогущую волю Свою проявляет посредством ветров и молний, – и слово ангел здесь

указует не на Ангелов – духов небесных, а имеет значение нарицательное – вестники». Такое толкование было дано в каком-то из бывших у меня пособий – у Филарета или в классных записях, а может быть там и здесь, не помню. «Кто в вашей семинарии преподает догматику?» спросил А. В-ч. «Любомиров», ответил я. Вероятно в моем ответе он услышал изложение своих собственных лекций. Затем обычным «довольно» А. В-ч отпустил меня.

Во время моего ответа А. В-ч, казалось мне, смотрел на меня или мимо меня как-то особенно приветливо: лицо его как будто становилось светлее, голос ласковее, в глазах виделось одобрение и удовлетворение.

Мое самочувствие очень поднялось. Сам я был вполне доволен своим ответом и считал его весьма удачным. А приветливость и одобрение А. В-ча внушили мне мысль, что и сочинением моим он доволен, по крайней мере, оно не противно ему.

Самым неприятным для меня был экзамен по церковной истории. В семинарии я получил отвращение к истории благодаря учебникам Иловайского: кроме побасенок я был не в состоянии усвоить и передавать написанное в нем, – отвратительной казалась самая печать – какая-то экономическая, слитная, не оставляющая в глазах и в памяти никаких впечатлений, кроме утомительного однообразия. К счастью, наставник И. С. Протопопов не особенно утруждал учеников: посещал классы редко (он был подвержен ужасному национально-русскому недугу, теперь прекращенному, и удален потом из семинарии, как и другой наставник по словесности и литературе – Каллиников). А когда посещал, то заменял Иловайского своими собственными рассказами, записывавшимися и усваивавшимися очень легко. Любопытно, что к экзамену я мог выучить по Иловайскому только один первый билет, начинавшийся так: «Вдоль восточного берега Средиземного моря, по склонам Ливанских гор лежала страна, известная в Библии под именем Ханаана» и пр., – сильно о нем думал и вынул именно этот билет. То же было и по русской гражданской истории, но там я знал целый отдел, начинавшийся Петром Великим, и вынул билет именно из этого отдела. Счастье – это, или что иное, – не знаю. Не лучше были и уроки, – сначала литографированные, а потом печатные, – Евграфа Смирнова по церковной истории: какой-то конспективно-календарный справочник годов, лиц, событий, без внутренне прагматической связи. Смирнов заставлял учить свои записки буквально и всегда спрашивал из всего прежде выученного. Впрочем мы скоро приспособились к такой невозможной долбне: текущий урок отвечающий ученик читал прямо по записи, ибо преподаватель был очень

близорук и сидел далеко от парт, – а вопросы из пройденного у него были одни и те же и в небольшом числе, так что все они были выписаны на отдельном листке и обычно пробегались во время перемены теми, кто по догадкам и очереди, подвергался спросу в настоящий урок. Русская церковная история изучалась слабо, преподаватель был не строгий, витиевато и напыщенно написанный учебник Филарета проходил кое-как, с пятого на десятое. Притом позволялось заменить Филарета уже вышедшим тогда учебником Знаменского, написанным изящно и занимательно.

Не помню, кем распространено было перед каникулами известие, что экзамена по русской церковной истории в Московской Академии не будет, так как профессор этой науки (Е. Е. Голубинский) находился в заграничной командировке. Поэтому приятный учебник Знаменского я не брал в руки, а противные записи Е. Смирнова я даже и не имел у себя на каникулах, а подчитывал уже в Академии.

Как неприятно было узнать уже на самом экзамене, что к билетам А. П. Лебедева по общей церковной истории председательствовавший и на этом экзамене А. В. Горский предложил несколько билетов и по русской. Третьим сидел Н. И. Субботин.

Вынул билет о Константине Великом. Плоховато знал и весь учебник, а этот билет – хуже всего. Припомнил кое-что небольшое об обращении Константина в христианство. В учебнике Смирнова был перерыв: с 313-го года рассказ сразу переносился к 325-му. Тут А. П. Лебедев меня остановил и резко заметил: «А что было после 313-го года?» Я посмотрел недоумело и тоже может быть грубовато ответил: «Ничего». А. П. заволновался, задвигался на кресле и раздражительно сказал: «Как так ничего? Так ничего и не было?» – Вообще А. П. на экзамене держал себя не спокойно, горячился, отворачивался от А. В-ча и как будто пикировался с ним. А А. В-ч то глубоко вздыхал, то посматривал на него как будто насмешливо или даже с сожалением если не пренебрежительно. Впоследствии, уже профессором, при близком знакомстве с А. П-м, я узнал, в чем было дело. Горский и его преемник, после иером. Иоанна Митропольского (1862–1870), Лебедев были полные противоположности. Горский – знаток и аналитик в подлинниках едва ли не на всех языках первоисточников не только церковной истории, но и всех смежных дисциплин: Священного Писания, догматики, патристики, каноники, литургики и т. д. – Лебедев едва ли читал и научно анализировал хотя бы один первоисточник в целом виде, всесторонне и в подлиннике, – он был всецело погружен в изучение новейшей иностранной литературы своего

предмета. Горский – тяжелый, но глубокий мыслитель-богослов, – Лебедев – легкий и занимательный рассказчик. Горский – исследователь и проявитель идей и смысла истории, Лебедев – наблюдатель и раскладчик фактов и событий. Горский – богослов, Лебедев – историк. Контраст можно было бы провести и далее. Понятно, почему Лебедев – профессор не сочувственно отзывался о Горском, даже пренебрежительно, – укорял его в отсталости, в незнакомстве с новейшими движениями научными на западе, – в том, что его знания остановились на Неандере и пр. Со своей стороны и Горский не мог конечно, сочувствовать направлению и методу Лебедева, его некоторой легкости. Этим объясняется и то, по-видимому, странное явление, что лекции А. В-ча по церковной истории доселе не напечатаны и составляют пока достояние высокоценного в научном отношении «Архива Горского» в библиотеке Императорской Московской Духовной Академии. Я хочу сказать, что на ближайших преемниках А. В-ча должна лежать главнейшая тяжесть ответственности за то, что его лекции доселе не изданы. Я убежден, что при общей зависимости от этих лекций от Неандера, идейная сторона их глубоко оригинальна, – и что среди заимствований в них наверно есть немало самобытного в частных отступлениях и трактациях исторического, археологического, канонического и догматического характера. А его лекции по догматике, наверно, оригинальны все целиком и доселе имеют высокую научную ценность. Первый долг Академии, празднующей свое столетие – немедленно же издать эти лекции.

На последнее замечание Лебедева: «Так-таки ничего за двенадцать лет? Что же? Никаких событий и нигде?» Тут и я резко ответил: «Ну конечно не метафизическая или Торричеллиева пустота! Кому в голову взбредет такая невозможная нелепость! Исторические события, конечно, были, но мне они не известны, потому что о них ничего не сказано в учебнике!» – По-видимому, только такого ответа и добивался от меня Лебедев.

Во время этого нелепого и мальчишеского препирательства А. В-ч, мерещилось мне, стоял на моей стороне, улыбался снисходительно и даже, казалось, поощрительно.

Дело, однако же, как узнал я потом от самого А. П-ча, могло принять неожиданно плохой для меня оборот. А. В-ч выручил. Он замял препирательство вопросами из всей программь. Спросил об Оригене, его учении, сочинениях, осужден ли он, на каком соборе осуждены монофелиты и пр. Почти все эти вопросы входили в опросный листок Е. Смирнова. На все вопросы я отвечал быстро и верно.

Впоследствии, уже находясь со мной в близком знакомстве и даже приятельстве, А. П-ч рассказал мне об этом экзамене. Не предполагая во мне скорого первака 32-го курса и будущего товарища-профессора, он поставил мне неудовлетворительный балл: 2. – Но когда комиссия стала выводить средний балл, А. В-ч решительно и даже с негодованием (как сообщал А. П-ч) возражал против такой отметки, между прочим сообщив, что я написал сочинение отлично, лучше всех экзаменатов.

Затем был экзамен по логике. Учебник Светилина я почти весь знал наизусть (это – не история Иловайского и Смирнова!). Билет: «о силлогизме». Ответил отчетливо. Председательствовавший на экзамене В. Д. Кудрявцев (присутствовал еще А-ндр П. Смирнов – психолог) спросил, не знаю ли я какого примера из Нового Завета. Отвечаю указанием на известную речь Гамалиила в книге Деяний, при суде Синедриона над Апостолами. Этот пример, кажется, есть и в учебнике.

Последний экзамен – по греческому языку. Экзаменовал инспектор С. К. Смирнов. Спрашивал перевод с греческого *à livre ouvert* какого-то отца, кажется, Кирилла Александрийского, по христоматии, в порядке текста и вызывая по алфавиту. В партах были и лексиконы, и грамматики. Зная очередь и следя за текстом, нетрудно было наперед подготовиться к переводу своего отдельца. В экзаменационных табелях все ответы помечены баллами 5, кроме 4-ки по церковной истории.

Наконец – медицинский осмотр в больнице благодушнейшим остряком Нилом Петровичем Страховым. К больнице он без кучера подъехал в какой-то странной, мною никогда и нигде и прежде и после невиданной, маленькой, чуть не игрушечной каретке, закрытой сверху, с окнами по бокам и отверстием для возжей и окном спереди. В ней с трудом помещался довольно тучный доктор. Запряжка в одну лошадь, – большая и смешная кляча, с вытянутой мордой, длинными ушами и длинным хвостом, – поджарая, длинноногая, худая. Как бы в контраст лошади, из каретки, пыхтя и ворочаясь, едва вылез круглый, толстый, небольшого роста человек. Гладко стриженный, лицо круглое, бритое, красное, лоснящееся, смеющееся. Получалось впечатление клоунского номера в цирке. Начался осмотр, с разными шутками-прибаутками, в присутствии инспектора С. К. Смирнова, тоже порядочного каламбуриста. Меня, раздетого наголо, Н. П-ч не стал остукивать и выслушивать, а только заставил обернуться и сказал С. К-чу: «Годен в моряки, – плавать умеешь»? – «Умею». – «Ну, будешь тут ловить лягушек». – Впоследствии, летом, во время каникул, мне действительно приходилось разгонять скуку ловлей тритонов на удочку в прудике, находившемся в монастырском

саду.

Во время экзаменов у меня стала являться надежда на то, что, пожалуй, я и поступлю в Академию. Но уверенности все-таки не было. Настал час приговора. Перед обедом, около часу дня, явился инспектор с листом в руках. Медленно, величественно и торжественно он вынул из бокового кармана форменного фрака футляр с очками, а из заднего – шелковый цветной платок, – достал и вытер очки, надел и стал читать высоким и сильным басом:

«Митрофан Муретов, Яков Зеленев и пр.» Этот перечень фамилий С. К-ч не предварил ни одним словом, вероятно из склонности к шуткам, желая может быть пострадать принятых студентов, – а может быть я от волнения не обратил внимания на тихо сказанные слова. Во всяком случае с сердечным трепетом и затаенным дыханием я услышал прежде всего свою фамилию. Что это значит? Первый из невыдержавших? – думаю, находясь в состоянии какого-то столбняка. Так далека была от меня мысль поступить перваком. Но вот по уходе инспектора ко мне на шею бросается и меня целует Зеленев. Радостно догадываюсь, наконец узнаю. Началось общее ликование, поздравки... Тридцать человек принято на полное казенное содержание, один – условно, восемь – на свое иждивение, а шестерым отказано в приеме. Потом, независимо от общего экзамена, были присоединены: черногорец и грузин и вольнослушатели: В. С. Соловьев, известный потом философ, еврей Зюсьман и два студента семинарий. Что было с непринятыми и как они себя держали, не заметил, – ни с кем из них я не познакомился близко во время экзаменов.

Кончилось. Немедленно посылаю радостное и горделивое сообщение отцу (вот-де каковы мы!), извиняюсь за беспокойство с подводой. Но отец, как оказалось, зная мою мнительность и трусливость, и не думал делать напрасный 55-верстный променад, спокойно ожидая известия о моем поступлении в Академию.

Пишу письма своим бывшим начальникам – ректору и инспектору семинарии, – с сознанием собственного достоинства описываю письменные и устные экзамены, кажется, с критикой тем и экзаменаторов, особенно Лебедева, – как равный у равных прошу, как бы в награду себе, за отличие семинарии в моем лице, передать мою 40-рублевую годовую стипендию брату, находившемуся в 4-м классе и занимавшему далеко не первое место в списке, кажется, даже и не в первом десятке. (Все-таки исполнили мою просьбу).

Так началась моя студенческая жизнь в составе студентов 32-го курса Московской Духовной Академии (1873–1877 гг.) Как это ни странно, но я

никак не могу припомнить молебна перед началом учения, кто служил, и было ли произнесено слово. Не знаю, чем это объяснить. Остается только глубоко сожалеть об этом особенно теперь, при писании этих воспоминаний.

Пользуясь свободным от занятий временем, я еду смотреть Москву с товарищем из Риги Х. Н. Гроздовым. Остановились в Троицком подворье. Ничего в ней не произвело на нас особенно сильного впечатления: ни царь-пушка, ни царь-колокол, ни Минин с Пожарским, ни Москва-река, ни здания. Храм Христа Спасителя еще не был окончен. Только уже потом, спустя долгое время, я понял, что Москву нельзя *смотреть*, – ее надо *изучать*, в ней надо *жить*, чтобы постигнуть всю ее самобытно-русскую прелесть, – ее мощь внешнюю и внутреннюю, – именно то, что она есть сердце и душа великой и мощной Руси. Несколько удивили нас движение на улицах, тротуарах, площадях, – и суতোлка в торговых рядах. С большим любопытством осмотрели Румянцевский Музей и Зоологический сад. Решили посетить самую лучшую тогда гостиницу или отель Дюссо, где, как мы слышали от кого-то, останавливались только архиереи и генералы. Парадный подъезд, величественный швейцар в ливрее, шикарная лестница. Несмотря на наши, совсем уж не барские пальто и фуражки, нас все-таки пустили в общий роскошно отделанный бархатом, шелком и картинами зал. Лакей во фраке, крахмальной чистой сорочке и безукоризненно белых перчатках вежливо подал нам кофе на двоих в серебряном кофейнике и со всеми вообще серебряными приборами, – с булочками, сухариками и сливочным маслом. Показалось очень вкусно. Взяли только рубль, лакею на чай не дали, но швейцару соблаговолили вручить двугривенный. По-видимому, нас приняли за иностранцев, так как Гроздов – рижанин и латыш – говорил для шику по-немецки и лакей отвечал ему тоже по-немецки. Ездили в Петровско-Разумовскую Академию к товарищу Гроздова, он водил нас в академический зал-музей, по парку и пруду, – все очень понравилось.

Но театры были для меня новым миром, как бы открытием Америки. В Рязани мне раза два-три, вместе с другими семинаристами, удавалось бесплатно проникать на галерку к концу спектаклей – фарсам и водевилям, да однажды видел гимнастику и фокусы. Теперь мне удалось видеть в Малом Театре серьезную и захватывающую пьесу Островского «Гроза» в игре тогдашних знаменитостей, а в Большом слышал Жизнь за Царя и Снегурочку. Театр буквально ошеломил меня. Я не могу объяснить: как, почему и чем, но я переродился, стал другим, возымел другое сердце, иной ум, новые чувства. Особенно очаровал меня Лель-Кадмина в

Снегурочке. Никогда после ни один актер не производил на меня такого обаяния, чудилось что-то действительно сказочное, не теперешнее, не реальное, а какая-то неуловимая греза, таинственная даль без резких очертаний, – тонкая и трепещущая эфирность, – нежное, задумчиво-грустное, волшебное привидение. Чувствовалось, что это – не от мира сего. Не потому ли она так безвременно рано и покинула этот мир?

Я воротился в Академию под полным очарованием Леля. Его образ почти целый год ежедневно с утра до ночи и даже во сне стоял перед моими глазами, – его песни неотступно звучали в моих ушах.

Отвлечением и спасением от этого наваждения для меня служили: рассеянность общежития среди товарищей и погружение в занятия, особенно сочинениями.

Студенческая жизнь собственно началась так называвшейся «Генеральной», т. е. выпивкой⁵. От всякого новичка требовалась известная сумма, рубля два-три, – если не было наличных, брали у эконома в счет будущих бельевых. На эти деньги распорядители Генеральной, под руководством опытных в этом деле студентов старших курсов, закупили разных вин, закусок, чая и сахара, печенья, конфет, фруктов – всего в изобилии. Расставили в чайной младшего корпуса и часов в 6 вечера началась Генеральная. Собрались все студенты – всех курсов. Знакомились с новичками, особенно земляки. На старших курсах были только три рязанца: Доброхотов 4 к., Инякин 3-го и Беляев А. Д. – 2-го. Я хотя и познакомился с ними, но только шапочно. Вообще, по своей застенчивости, я ни с кем из студентов старшего курса не был близко знаком. Пили, закусывали, разговаривали, потом стали произносить речи, но всего более пели шумно и нестройно, некоторые даже дикими голосами и благим матом, как бы желая перекрычать друг друга и побить рекорд на оранье, что особенно удавалось одному студенту из старших курсов. Песни почти все старые, знакомые, семинарские: «Вниз по матушке по Волге, Волга реченька. Как на матушке на Неве реке, Мы по Питеру гуляли, Чарочки по столу похаживают, Хуторок» и др. С особенной экспрессией запевало диким и неистовым тенором выкрикивал: «сватался за вдовушку ученый кандидат, (в семинарии пели: семинарист); сказывал-показывал богатство свое, – семь словарей, все латинских», причем брал в руки по словарю и изо всех сил хлопал ими по столу. Но были и новенькие, мне неизвестные, особенно из малороссийских: «Вышли в поле косары, Солнце низенко, Засвистали казаченки» и др. Особенно остроумны были мне неизвестные и неистоцимые варианты Дубинушки, в коих непосредственное творческое участие принималось и самими

запевалами и притом применительно к студентам Академии. Также Некрасовская: «Много песен слышал я в родной стороне».

Выпивать обязательно, даже насильственно заставляли всех. Кто не мог крепких напитков: водки, рома и коньяку, тех принуждали пить легкие вина: Кагор, Херес, Тенериф и так называвшееся Белое, – и заставляли быть виночерпиями при столах.

Начальство знало об этой выпивке и терпело ее, по исконной традиции. Вооружился против нее и даже на некоторое время уничтожил ее первый П. И. Горский, если не ошибаюсь, в 1889-м году, а может быть и ранее, – смело явившись в столовую, он палкой перебил уже стоявшие на столах бутылки. Потом она на некоторое время была восстановлена. Когда и кем уничтожена совсем, этого не знаю пока.

Впрочем, упившихся «до положения риз», кажется, было весьма мало. Со старших курсов я не знаю никого, может быть последствия выпивки проявлялись после в ихних номерах и спальнях, – а из новичков я помню только двух-трех.

Но один из них стоил десятка. Явившись в спальню, когда почти все уже разделись и разговаривали на койках, он с огромной силой начал швырять и ломать весьма прочные и тяжелые табуреты, с шумом и треском над нашими головами бросать в стены, у коих они разбивались в дребезги. Все убежали в соседние спальни. Кое-как его уладили, и все окончилось благополучно. Спустя немного, кажется 1-го октября, тот же новичок, в подобном же пьяно-буйном состоянии на монастырском Смоленском кладбище повалил и испортил ночью несколько надгробных памятников, за что и был немедленно уволен из Академии⁶.

Начались занятия.

Наш курс поместили в трех номерах младшего корпуса, в нижнем этаже, со спальнями в верхнем этаже над номерами, – по 10–11 человек в номере. А своекоштных устроили в одной из башен Лавры на счет монастыря. Двух поместили при канцелярии письмоводителями. В каждом номере стояли два широкие продолговатые ясеневые стола с прочными ясеневыми табуретами и одной-двумя массивными и тоже ясеневыми конторками. Столы – поместительные, можно было держать на них много книг при себе, даже в фолиантах. Сидели друг против друга, у каждого сиденья в столе находился выдвижной ящик с ключом, куда клались книги, бумага, перья, чай-сахар, табак. Бумага, перья и карандаши выдавались ежемесячно в известном количестве, а чернила всегда были в наличии в комнате (конурой или печуркой называлась) номерного служителя. На каждый стол, смотря по количеству сидевших, полагалось

по две или по три свечи, сначала сальные с железными щипцами – для снятия нагара фитильного, – но вскоре замененные калетовскими или экономическими (низший сорт стеариновых). Так на всех курсах, за исключением номерных старших, которым в спальнях давались отдельный столик и свеча. На конторках поэтому можно было заниматься только при дневном свете.

И несмотря на такое скудное освещение, ни я и никто, кажется, из товарищей не жаловался на порчу зрения. Лет двадцать и после окончания курса я продолжал заниматься с одной свечой, потом потребовалось две, – и только под старость пришлось прибегнуть к лампе сначала в 10, потом в 15, а теперь в 20 линий. Очки или пенсне только при чтении употребляю, но не ношу постоянно, с 1898-го года, теперь № 18. Спальню с койкой и постелью менять не пришлось. Только чемоданчик, калоши и верхнее пальто надо было держать уже в гардеробной, где у каждого был также свой ящик с замком – для белья и всего прочего.

Надо было избрать языки и отделение. Из новых я уже в семинарии порядочно напрактиковался по-немецки, похуже знал французский, а английский не знал совсем. Записался на французский – для экзамена и на английский – для изучения. Из древних избрал греческий, как более потребный для истории философии и для богословия.

Без колебаний записался я и на отделение богословское. Это внушали мне уже семинарские наставники, к истории семинария образовала во мне отвращение, напротив, к богословию я имел особенное расположение. И среди студентов тогдашних установился взгляд на богословское отделение, как на самое серьезное и главное, где был и сам «Папаша». Об историческом говорили, что хотя оно и интересно, но слишком обременено лекциями и много долбни. Практическое несколько как-бы презиралось и считалось самым лёгким – для дельцов-практиков, желающих с наименьшей затратой получать обильнейшие плоды. Характеристика, как потом я убедился, не только безосновательная, но и ложная. Богослова могли быть и бывали и на историческом и на практическом отделениях; как и историками и практиками – богослова, а практики – и богословами и историками. Все зависело от личных расположений и дарований студентов и профессоров.

Походил я на первых порах, любопытства ради, по лекциям всех, тогда читавших преподавателей всех отделений и с великой скорбью в душе должен был сознаться, что в выборе отделения сделал большой промах! Не только историки, особенно Ключевский, но и практики, не говоря уже об Амфитеатрове, даже скучнейшие Мансветов и Лавров –

были интереснее всех богословов, не исключая и самого папаши. Я увидел, что история изучается в Академии совсем не так, как в семинарии, но идейно и прагматически, – и что никакой страшной для меня долбежки тут нет. Но еще решительнее изменили мой семинарский взгляд на историю прочитанные тогда мной в русском переводе Тэн и Фюстель-де-Куланж, а также Дрэппер и Гизо, – книги, находившиеся тогда у моих товарищей-историков.

Но ошибка была поправима, – старшие студенты говорили, что всегда можно переписаться, – надо только подать ректору прошение. Впрочем предупреждали, что это будет неприятно папаше, так как он особенно ревновал о своем, богословском отделении.

Написал прошение и после ужина иду к А. В-чу. Избрал нарочно тот день, когда мне надо было идти к нему в качестве дежурного по классу и столу.

Выходит такой же, как при первом приеме: светлый, ласковый, милый. Благословляет, берет меня под руку и ведет по ковру-дорожке для обычной его прогулки в зале и гостиной. Дрогнуло сердце во мне, но я остался тверд в своем намерении. Спрашивает о столе, о прочитанных лекциях. Тут я вынимаю из левого кармана сюртука прошение... Остановился папаша, отнял руку и стал против меня. «Что такое?» – спрашивает тревожно. Говорю: «Прощение о переводе меня на историческое отделение». – «Как? Почему?» спрашивает. Отвечаю: «Там профессора лучше!» – Увы! И сам Горский у меня попал в худшие профессора. Какую глубокую обиду нанес я тогда! Прости Папаша! «Да кто же, да чем же лучше?» скороговоркой и с волнением спрашивает. «Да вот, говорю, например, Ключевский, Касицын..., а на богословском кто же, кроме Вас?» Увы мне это «кроме Вас». Какая новая обида для А. В-ча. Но я тогда разве понимал, что один папаша стоил больше и стоял выше всех остальных преподавателей Академии вкупе? Со стыдом рассказываю теперь об этих грубостях рязанского бурсака, хотя на рязанской бурсе я жил только один день, ибо на другой был уже изгнан за курение папиросы в гардеробной.

Послышался глубокий вздох папаши, какой он часто делал при посещении лекций преподавателей, когда он был недоволен или самими лекциями или же малочисленностью посетителей.

А. В-ч начал меня всячески убеждать и уговаривать. Между прочим говорил, что я увлекся историческим отделением и думаю так о богословском по моей неопытности, – что это мне показалось так только на первый и поверхностный взгляд, – что история есть только внешняя и

часто мишурная одежда, а что тело и существо в богословии, – не в интересных разных случаях и случайностях и не в остроумно-хитросплетенных комбинациях их, а в идеях и идеалах, раскрываемых богословием в догматах церкви, – и не в блестящих литературных характеристиках разных исторических лиц, а в постижении и проникновении внутреннего божественного смысла истории, руководимой божественным промыслом и осуществляющей божественную волю, – особенно истории Церкви и главнейшее – церковных догматов, как высших и точнейших выразителей исторической истины и пр. в том же роде. Говорил долго, увлекательно и с неотразимой убедительностью.

Затем указал на то, что и на богословском отделении все дисциплины строятся на историческом основании: догматика на истории догматов, патристика – на историческом изучении церковной литературы, также и сравнительное богословие и нравственное... Глубокий вздох! Этот вздох, догадываюсь теперь, выражал или сопровождал затаенную мысль А. В-ча о том, как плохо поставлены были в то время эти дисциплины на богословском отделении⁷.

Наконец А. В-ч как бы дал мне намек на то, что я свободно могу ходить на лекции историков, даже во время специальных лекций богословского отделения. Надо заметить, что таковых лекций на первом курсе было только четыре, по патристике, но преподаватель являлся редко, и А. В-ч конечно знал это. Таким образом для посещения лекций исторического отделения не было препятствий.

Я уже поколебался. Но окончательно я отказался от своего намерения тогда, когда папаша, убеленный сединами старец, стал говорить, что он был обрадован моим предпочтением богословского отделения перед другими, что он постарается дать мне интересную тему для кандидатского сочинения по догматике, – что он, наконец, *упрашивает* меня остаться богословом... Последнего я не мог выдержать, – мне стало стыдно, что я заставляю папашу говорить это и я остался на богословском отделении.

Всё, что говорил папаша о богословии и истории, было, конечно, сущая правда. Верно и то, что мое увлечение лекторами исторического отделения было поверхностно и легкомысленно: вскоре я охладел к их лекциям и перестал их посещать. Но все же доселе тужу, что не перешел тогда с богословского отделения на историческое: папаша умер в начале того года, когда я должен был писать кандидатское сочинение, и работать под руководством папаши не пришлось, а из других преподавателей отделения писать было некому, да я и не желал. Пришлось работать по предмету общеобязательному, без всякого руководства и на собственную

тему. Между тем на отделении историческом были очень почтенные профессора и специалисты: Е. Е. Голубинский, А. П. Лебедев, В. О. Ключевский.

Покончив с отделением, я принялся за работу: посещение лекций, изучение французского и английского языков и писание третних сочинений, называвшихся у нас почему-то семестряками-полугодничками.

Предметы разделялись на общеобязательные – для студентов всех отделений, и специальные – для каждого отделения особо. Общеобязательными на первом курсе были: Философия – В. Д. Кудрявцев четыре часовых лекции в неделю, Психология – А. П. Смирнов – столько же, Священное Писание Ветхого Завета – Н. А. Елеонский 2 л., Естественно-научная апологетика – Д. Ф. Голубинский 2 л., – новые – немецкий, французский и английский языки по 2 л. и древние – латинский и греческий – по 2 л.

Философию, как называлась кафедра на официальном языке, или метафизику, по терминологии студентов, т. е. систему философии читал В. Д. Кудрявцев. Неопустительно в течение года он являлся в аудиторию № 1 и читал лекцию 50 или 55 минут. Небольшого, пожалуй даже малого роста, с несоразмерно большой, продолговатой головой, – с немногими на ней уцелевшими длинными седеющими волосами, зачесанными слева направо для скудного прикрытия плечи, – небольшим низким и узковатым лбом, – большими, открытыми, редко моргающими, серыми глазами и густыми полусерыми бровями, – коротким сплюснутым носом, тонкими и длинными губами, скуловатым со впалыми щеками и сухим лицом желтоватого цвета и небольшой, кругло подстриженной, бородой с проседью, – старенький официальный фрак и жилет с серебряно-пожелтелыми пуговицами: такова фигура В. Д. Кудрявцева. Небольшими медленными шагами коротких ног медленно взбирался он на огромную и неуютную кафедру, – как бы утопая в ней теряясь за пюпитром, садился в кресло, – медленно доставал из левого кармана отчетливо, письмоводительски, без всяких помарок написанную тетрадку, откашливался, иногда сморкался и начинал чтение – медленное, ровное, спокойное, плавное, без повышений и понижений голоса, иногда только прерываемое кашлем, но отчетливое, ясное, всепонятное. Таково же и содержание и изложение лекции: стройные, отчетливые, однообразные периоды («Но если – то почему, – хотя – однако, – как – так, – что касается – то» и под.), – прозрачно-ясная, простая, убедительная мысль. Казалось, это было не исследование или постижение истины человеком её ищущим, а вещание уже о найденной истине человека убежденного и обладающего

истиной. Первая лекция была посвящена ответу на вопрос: «Что такое философия?» – Она эффектно начиналась известной беседой Пифагора с Леоном на эту тему. Эта, как и все прочие лекции В. Д-ча, напечатана, с некоторыми изменениями, в собрании его сочинений и потому не требуют от нас изложения их содержания. Сочинения эти уже получили широкое распространение и оценку людей компетентных. Но, как и все нам еще очень близкое по времени, сочинения В. Д-ча своей полной и беспристрастно-верной оценки должны ожидать от будущих поколений и в более отдаленной исторической перспективе. Посещал я эти лекции более или менее исправно, исправнее всех других лекций на первом курсе.

Психологию читал Александр Петрович Смирнов (надо отличать от Андрея Петровича Смирнова – преподавателя библейской истории). Этот во всех отношениях представлял какое-то недоразумение и странность. Человек еще не старый, средних лет, он страдал, можно сказать теперь уже прошлым русским недугом. Посещал лекции не совсем исправно, жил уединённо, хотя и был женат, – добираться до него студенту едва ли было возможно, да к нему и не ходили ни за книгами, ни за советами. Являлся на лекции в двух видах: то подернутый румянцем и со специфическим запахом, – то мертвенно-бледный с помутившимся взором. Но в обоих видах своих он одинаково был невозможен на кафедре. Раскрывал тетрадь и каким-то замогильным, невнятным и нетвердым, несколько гнусавым голосом начинал чтение, большей частью держа пальцы левой руки у правой стороны рта, как будто у него ужасно ныл зуб верхней челюсти. Не слышавшим трудно и представить себе, что это было за чтение. В начале года, когда читалась история психологии, еще можно было слушать, хотя и с большим и неприятным напряжением. Надо заметить, что лекции эти весьма сходились с книжкой Владиславева и очевидно истекли из одного источника. Но изложение самой психологии было нечто невообразимое: длинные и многоэтажные периоды плохо переведенного Ульрици, с немецкой расстановкой слов, – чтение просто бессмысленное, с остановками там, где нет препинания, и безостановочно, где это препинание есть, например, в половине периода или перед придаточным предложением и после него и под. Мне было крайне противно слушать это издевательство над такой важной и всегда интересовавшей меня наукой. Иногда даже казалось, что лектор нарочно глумится над своими слушателями, – или же у него страшно болит зуб, и ему не до лекции и не до слушателей.

Для меня было и остается полной загадкой, что эти лекции у студентов старших курсов и у некоторых моих товарищей считались очень

дельными и глубокомысленными, а сам лектор мнил себя очень осведомлённым в своем предмете и умным. Последнее – может быть, но первого доселе не могу понять. Уж не обычная ли это на Руси слава людей с русским пороком и не мудреность ли принималась за мудрость! В психологической литературе А. П-ч неизвестен и впоследствии он опустил до того, что не напечатал даже своей речи, по обязательному поручению Совета произнесенной им на публичном акте академического праздника 1-го октября 1882-го года, на тему: «Язык и разум», – напечатанной после смерти лектора в журнале «Вера и Разум», и оказавшейся не оригинальной. По выслуге 25-летия он тут же ушел в отставку и вскоре скончался в Москве.

Священное Писание Ветхого Завета читал тогда еще молодой доцент Н. А. Елеонский. Его чтения разделялись на два курса, по 2 лекции в каждом. На первом курсе преподавалось общее введение – история канона и текста и о пятикнижии. Внешность молодого преподавателя, пока он не начинал говорить на кафедре, была весьма внушительна: массивная голова, высокий открытый лоб, большое русское лицо, широкие плечи и грудь. Все заставляло предполагать сильный голос и энергичную дикцию. В действительности наоборот: лектор имел вид какой-то блаженный, читал или говорит тихо-умилительным голосом, потрясал головой или узкой бородкой и делал такие жесты правой рукой, сжимая и разжимая ладонь перед собой, что как-будто уяснял самому себе или же находившемуся перед ним ребенку какой-нибудь трудный урок. А между тем содержание лекций отличалось крайней элементарностью, в роде семинарского учебника Хергозерского, только с некоторыми еврейскими словами: берешить, ве-элле-шемот, тора и под. Студенты называли его и его предмет *"шебала"*. Почему, не знаю. Может быть потому, что он употреблял на лекциях еврейские слова перед слушателями, не знавшими и знать не обязанными еврейский язык: богословы изучали еврейский язык только на втором курсе, а историки и практики совсем его не изучали. Запомнилась первая лекция. Со славянской Библией большого формата в лист – Елизаветинского издания, плотно сложенный и коренастый лектор медленно уселся на кафедре, торжественно положил перед собой Библию и вместо ожидавшейся энергичной дикции, едва слышно, блаженно-умилительным и елеиным гласом, потрясая большой головой, широким лицом и узкой бородкой, сжимая и разжимая перед собой ладонь, при всеобщей тишине ожидания, начал так:

«Библия, Библия! Сколько веков пронеслось над тобой? Какие бури и волнения ты пережила? Сколько слез и крови пролито из-за тебя?» и

прочее в том роде, с кратким указанием судеб Библии до новейшей отрицательной критики её.

Шутники скоро сочинили смешную пародию на эту лекцию в виде следующего, якобы подслушанного, разговора Н. А-ча с извозчиком перед лаврскими воротами. Идет после лекций Н. А-ч домой с тяжелой славянской Библией в руках и нанимает извозчика довести его до квартиры: «Извозчик, извозчик! Сколько возьмешь ты довести меня до квартиры?» – Тот отвечает: «Двадцать копеек». На это Н. А., указывая на Библию: «Извозчик, извозчик! Знаешь ли, какая это книга? Ты не знаешь этой книги. Если бы ты знал, сколько веков и т. д. буквально из лекции, – то ты наверно довез бы меня за 5 копеек». Особенно хорошо удавался анекдот студенту 3-го курса Н. А. Богданову, неподражаемо точно передававшему фигуру, манеру и голос Н. А-ча, – да, судя по всему, он сам и сочинил этот анекдот, ибо был большой мастер художественно изображать всех своих знакомых.

Впрочем, как профессор, Н. А. Елеонский был любим студентами за его милый и благородный характер и чрезвычайно внимательное отношение к студентам в их ученых работах и на экзаменах. Только из-за меня у него вышла маленькая история с Михаилом на моем магистерском экзамене, о чем будет сказано далее в своем месте.

Н. А-ч был очень прилежен, добросовестно занимался своим предметом и из него наверно вышел бы дельный и плодотворный профессор и ученый, если бы обычная в духовенстве многочадность, при скудости доцентского оклада, не вынудила его выбыть из нашей Академии в Москву, на должность сначала законоучителя Петровско-Разумовской Академии, а потом профессора Московского Университета, в которой он и закончил свою жизнь.

Припоминается, что когда я с Ал. П. Лебедевым однажды посетили Н. А-ча в Петровско-Разумовской Академии, он в разговоре бросил фразу, показавшуюся мне непонятной, что здесь – в Академии – он стал умнее. Означало ли это, что в бытность свою доцентом Духовной Академии он не считал себя и не считался умным, – или же он хотел указать на полученные им здесь и ему прежде неизвестные сведения по естествознанию, в частности по естественной географии Палестины (он печатал о горах, реках и пр. Святой Земли) – не знаю.

(продолжение)⁸

* * *

К общеобязательным предметам принадлежали языки, древние и новые, по выбору студентов. Я взял греческий как наиболее богословский.

Преподавал инспектор С. К. Смирнов. Как и все преподаватели, он являлся на лекции в форменном фраке, но в отличие от других имел жилет с белыми пуговицами форменными, часто нашитыми и выдававшимися на выпуклом большом животе. Я впервые видел такой жилет, и он почему-то мне очень нравился. Медленно входил он в аудиторию, торжественно восседал на кафедру и, вынув из бокового кармана листик и надев очки, начинал отчетливо и зычным голосом как бы вещать лекцию, устремляя взор на нас и лишь изредка посматривая на листик. Его величественный и внушительный вид на кафедре, представлявшей также громоздкое сооружение наподобие трона, невольно вызывал в нас образ Зевса, хотя С. К. и был бритый, без усов и бороды. Лекции начинались критикой Эразмова произношения и казались очень занимательными по своим доводам. Особенно ярко помнится фигура С. К-ча, изображавшего бляние овцы. С большим любопытством слушались также лекции об Олимпийских играх. Половина лекций, минут 20 или 15, посвящались переводу студентов из хрестоматии. Подробнее о преподавании С. К-ча мной сказано в статье юбилейного издания «Памяти почивших наставников», стр. 153–169.

По новым языкам я записался на два: французский и английский. По-немецки я был достаточно напрактикован в семинарии. Занимался и французским. Но по-английски ничего не знал. Лектором французского языка был Горский, благодушнейший старичок. Для первоначального ознакомления с языком им был составлен коротенький учебничек, с переводом правил из Марго. Преподавание состояло в чтении и переводе статей из хрестоматии, *Bibliothèque littéraire par Lafosse*. Лектор исправлял произношение и давал синтаксические объяснения, на 3-м курсе упражнялись и с русского.

Но англичанин Smith представлял курьез. Бритый, сухой, с мелкими чертами лица и небольшого роста старик неопределенной старости. Приезжая из Москвы, он прямо с вокзала являлся в аудиторию, с кожаным мешком в руках, и располагался по-домашнему. Вынимал из ушей какие-то машинки, чистил их чем-то и снова вставлял в уши. То же проделывал с зубами. Потом осматривал костюм и поправлял парик. Весь он казался какой-то машиной на пружинах, невольно напоминая слова любимой тогда нами студентами дубинушки: «англичанин хитрец изобрел за машиной машину». Открывал составленный им учебник и читал, заставляя студентов повторять за собой слова. Составлен учебник по так называемой, если не ошибаюсь, американской методе. Напечатан английский текст, под ним произношение слов русскими буквами и,

кажется, русский перевод. Изучение начиналось механически-бессвязным и бессмысленным запоминанием начертания, произношения и значения слов. Может быть такая метода и полезна для маленьких детей, но для меня, например, уже в училище знавшего латинский язык, а в семинарии, кроме того, занимавшегося греческим, немецким, французским и немного еврейским языками, – уже имевшего свой собственный навык в способе изучения языков, – такая ребячья метода была невыносима. После двух месяцев я перестал посещать уроки Смита, – тем более, что мне глубоко противна была и его циничная халатность в аудитории, где он не стеснялся даже доставать из мешка булку с сыром и чавкать своими вставными зубами во время урока. Я ограничился кратким курсом при словаре Рейфа, усвоив чтение, за немногими исключениями, напр. эйшен и др., – латинское. На экзамене с таким чтением я не решился идти и остался без отметки. Впрочем, в течение всего курса, мне не пришлось пользоваться английскими пособиями при сочинениях, – понадобился он много после, на профессуре, когда мне пришлось снова взяться за подновление и прибавление знаний по этому языку.

К числу общих, но необязательных предметов принадлежала еще, так называвшаяся, естественно-научная апологетика Д. Ф. Голубинского. Она, по особому ходатайству Совета Академии, при усиленных хлопотах А. В. Горского и благодаря горячему содействию Митрополита Иннокентия, была образована из упраздненной уставом 1869 года математики и существовала только в Московской Академии, на средства митрополии. Старшие студенты нам внушали, что записываться в слушатели Д. Ф-ча надо всем, чтобы угодить «Папаше», коего возлюбленным детищем была эта кафедра и коего любимцем был сын знаменитого Голубинского Д. Ф-ч. Так и было. Записались все, – тем более, что хождение на лекции считалось не обязательным и экзаменов не полагалось.

Свой курс естественно-научной апологетики Д. Ф. начинал историей своей кафедры, хлопотами А. В-ча, содействием Митрополита и благодарностью виновникам кафедры: одна-две лекции. Затем едва ли более лекций посвящалось раскрытию Премудрости и Благодати Божией в устройстве мира, на примерах целесообразного распределения влаги на земле, и еще что-то в этом роде, напомилавшее мне чтение и перевод в 6-м классе семинарии под руководством свящ. Ф. А. Орлова, из Василия Великого. После такого возвышенно-богословского вступления Д. Ф. переходил к самому прозаичному преподаванию правил арифметической и геометрической пропорций, алгебраических уравнений, элементарной физики. Для предшественников наших, учившихся в семинариях по

старому уставу и у академических математиков, – что новый устав счел необходимым прекратить, – уроки Д. Ф-ча может быть и были интересны и полезны. Но для большинства из нас, прошедших полные семинарские курсы математики и физики по новому уставу у университетских преподавателей, курс Д. Ф. казался менее полным, чем в семинариях. Особенно посчастливилось нашей Рязанской Семинарии, где с 1-го и до 4-го класса были превосходные и умелые преподаватели, коих уроки понимались большинством класса – Павлов (алгебра), Альбрехт (геометрия и тригонометрия), Урусов (физика). Особенно – последний. Он до того увлекал нас, что большинство сидело в классе буквально разинув рты и ловя каждое слово преподавателя. К несчастью нашему, он ушел из семинарии перед Рождеством. Второе полугодие преподавал физику Сидоров, из Горегорецкого Института. Он начал с того, что пропустил самые интересные отделы о свете и звуке, перешел прямо к электричеству, и здесь, выбросив все формулы и пр., занимаясь только опытами, приправляя их пошлыми прибаутками и деревянными остроумиями. А по пасхалии, при вычислениях с неопределенными уравнениями, у него никогда пасха не пришлась в воскресенье.

Впрочем аудитория Д. Ф-ча охотно посещалась студентами, особенно во время опытов. Правда, в большинстве это были опыты самые элементарные и знакомые по семинарии (Атвудова машина, нагревание шаров, электрическая машина, электро-магниты, лейденские банки, крукова трубка, опыты с газами и т. д.). Но некоторые были и новинкой, для меня напр. по звуку и свету – микроскоп, особенно солнечный и др. Так как я не всегда посещал лекции Д. Ф-ча, то не могу сказать, обращался ли он когда-нибудь к сложным формулам и вычислениям, – по-видимому – нет, во всяком случае это не было в *его стиле*. Исключением были, кажется, пасхальные вычисления, но они производились по знакам церковной пасхалии. Добрым союзником Дим. Ф-ча и гонителем слушателей к нему был, требовавший укрощения, здоровый и молодой студенческий аппетит, так как некоторые лекции приходились перед обедом. Я и большинство по утрам ограничивались пустым чаем с куском сахара вприкуску: из дававшихся ежемесячно на чай, сахар и хлеб трех рублей добрая половина уходила на табак и пр. На булку не оставалось. Д. Ф-ч, по-видимому, знал своего споспешника и к предобеденным лекциям на нашем и других курсах нарочно подгонял более интересные опыты. Содействовали и сообщения его помощников – адьюнктов при опытах, например: сегодня Д. Ф. перегоняет из пустого в порожнее (опыт с углекислым газом), – сегодня опыты с кислородом, алюминием,

солнечным микроскопом, кружковой трубкой и под.

Кроме классных опытов, Д. Ф. по временам устраивал генеральные, для всех, по вечерам: с телескопом и волшебным фонарём. Смотрели в устаревший и неважный телескоп на луну, марс, венеру и пр. Не знаю почему, но мне ни разу не удалось что-нибудь увидеть в этот телескоп. Смотришь – ничего. Д. Федорович любезно направляет, объясняет то, что я должен видеть, но я ни разу не видал ничего, и, из вежливости показав вид, что зрю подобающее видение, отходил от телескопа.

Но генералиссимусом был волшебный фонарь. Собиралось множество зрителей, даже профессора с семьями посещали эти сеансы. Что-то вроде спектакля, или теперешнего кинематографа. Показывались разные местности, города, памятники, народы, движения планет, портреты знаменитых людей и т. д. Были и движущиеся фигуры на картинах, напр. извергающаяся лава из Везувия, движущийся по мосту поезд железной дороги и пр. Случались курьёзы: Везувий вниз конусом, поезд вверх колесами, – вызывавшие взрывы гомеровского смеха. Уж не устраивал ли их Д. Ф. нарочно, по своей наивности, для оживления сеансов? – показывались портреты разных знаменитостей. В числе их Д. Ф. однажды предъявил одутловатый, морщинистый и не особенно благообразный лик, с замечанием: «Вот как неверие и материализм искажают человека, – это – известный безбожник и материалист Малешотт» (или Фейербах – хорошо не помню). Лик почему-то показался мне знакомым, вспомнился портрет Писемского, и я заявил свое сомнение Д. Ф.-чу. У него не оказалось никаких данных для разрешения этого сомнения и для доказательства принадлежности портрета Малешотту или Фейербаху, даже по крайней мере непринадлежности портрета Писемскому. Недоумение это так и осталось неразрешенным для меня доселе, ибо я не обращался потом с этим вопросом к Д. Ф.-чу.

Сеансы неизменно всегда оканчивались как бы апофеозой – показанием ликов «покойного родителя моего, известного философа, протоиерея Фёдора Александровича Голубинского» (некоторые сообщали, что Д. Ф. однажды прибавил будто бы слово: «девственника», но это конечно анекдот, ибо Д. Ф. не был столь уж наивен). Портрет, коего копия имеется теперь в юбилейных изданиях и в профессорской комнате, (наиболее удачно в Октябрь – Ноябрьской книжке Богословского Вестника 1914 г.) кажется странным и, по-видимому, имеет какой-то существенный недостаток в сходстве с оригиналом, особенно в носе. Но для самого Д. Ф.-ча, хранившего в себе яркий образ оригинала, этот недостаток, кажется, не был замечен. По крайней мере он предъявлял портрет «покойного

родителя» без всяких оговорок о сходстве. Вслед за покойным родителем появлялся на экране и лик здравствующего сына – лектора, в виц-мундире и с орденом на шее. Сам Д. Ф-ч, думается мне, имел при этом наивную цель – во очию всех показать свое сходство со знаменитым своим родителем. И действительно, некоторое фамильное сходство всё-таки есть. Для правильного суждения о портрете Ф. А-ча надо иметь ввиду, что Ф. А-ч любил нюхать табак, что унаследовал от родителя и сын. Появление портретов Родителя и Сына сопровождалось громким взрывом искренних аплодисментов, которыми и оканчивался сеанс. Все расходились с улыбками на лицах, в каком-то приятно шутливом и благодушнейшем настроении, унося из аудитории искреннюю благодарность лектору.

Вот этим-то благотворным и умиряющим влиянием как на студентов так и на профессоров Д. Ф-ч имел в академии гораздо большее значение, чем своей профессурой. Можно смело ручаться, что за всю жизнь он не обидел, как говорится, и курицы. Для исполнения обращавшихся к нему просьб он готов был делать все возможное до отдачи последнего пятака. Что-то детски-наивное было в нем, неволью напоминавшее слова Христа: «таковых есть царство небесное» (Матф. 19, 14).

Столь же благотворное впечатление производила и религиозность Д. Ф-ча. Все наставники и служащие исправно посещали академический храм. Но Д. Ф-ч неопустительно являлся всегда к самому началу службы, никогда ни с кем не разговаривал и становился особняком в храме, со сложенными на груди руками, склоненной несколько вправо головой и устремленными горе глазами, по временам наклоняя голову вперед и, по-видимому, произнося шепотом молитвенные слова. В таком положении он простаивал всю службу, как мне стало казаться потом, без крестного знамени и поклонов. Вернее же, я не обращал внимания на это до тех пор, пока однажды супруга В. Д. Кудрявцева, – дама очень словоохотливая, – когда я был уже преподавателем, не заявила мне пресерьёзно, по какому-то, не помню, поводу: «А ведь наш Д. Ф-ч масон». На мое превеликое и искреннее изумление она добавила: «ведь он не крестится и не делает поклонов, – это масонство он унаследовал от своего отца».

Моему изумлению не было конца, я принял это всерьёз и не утерпел вскоре высказать это самому Д. Ф-чу, хотя и под видом шутки. Самого Д. Ф-ча это нисколько не смутило, как будто он уже освоился с такими подозрениями, может быть со стороны той же словоохотливой Капитолины Васильевны. Он заметил только, что не блюдет строго постов, за исключением особо важных – первой и последней недели великого поста, дня усекновения Главы Предтечи, Воздвижения, Канунов Рождества

и Крещения, – что к этому вынуждает его болезненное состояние его желудка. А относительно поклонов, особенно земных, сказал, то у него малокровие, слабо сердце, плохи ноги и кружится голова. Действительно, Д. Ф-ч умер от слабосердечия и малокровия.

После этого я, стоя всегда позади Д. Ф-ча, стал невольно обращать на него внимание. Правда, крестился он сравнительно редко, еще реже полагал земные поклоны, но в необходимых случаях – при выносе Даров, особенно преждеосвященных, при возгласах с чашей: «всегда ныне и присно» и «свет Христов просвещает всех», не говоря о молитве Ефрема Сирина и др., – он истово держал правило.

Из времени студенчества и последовавшего потом преподавательства припоминаю, кажется, неизменно-постоянное участие Д. Ф-ча в общеакадемических собраниях, с чтениями и пением. Д. Ф-ч всегда выступал декламатором стихотворений, большей частью из Пушкина, напр. «Пророк» и др., постоянно же: «Птичка Божья» и стихотворений его родителя, особенно предсмертного, и эпитафии на памятнике рано умершей его дочери.

Последнее мое воспоминание об этих собраниях относится ко времени уже незадолго до смерти Д. Ф-ча. Какие-то студенты, в явно неприличном и насмешливом тоне, закричали: «Д. Ф-ча! Птичку Божию!» Д. Ф-ч, не замечая тона, с серьезнейшим видом произнес это стихотворение.

Курьезом представляется увлечение Д. Ф-ча верховой ездой. Уроки ее в молодости он брал в манеже, кажется, вместе с родственником своим проф. В. Н. Потаповым (за верность этого не ручаюсь). Не раз бывал я свидетелем, как Д. Ф-ч на клячевидном Россинанте посадского извозчика, в блестящих сапогах с высокими голенищами и со шпорами, в каких-то стильных перчатках и особенной наезднической фуражке, с хлыстом в руке, торжественно восседая на коне, не особенно изящно трусил по улицам Посада, куда-то за город. Однажды он вез с собой астрольбию и цепь, как потом узнал я от него, для определения границ земли посадских крестьян и по их просьбе. Объяснение этой, мало свойственной природе Д. Ф-ча и совсем неожиданной, странности думаю найти в дошедшем до меня, во время юной эпохи моего преподаательства, не помню через кого, преданий, что посадский и, в частности, профессорский бомонд некогда так увлекался аристократизмом, что в *салонах* Амфитеатровых и Кудрявцевых позволялось говорить только по-французски. Предание, теперь уже не свежее, тогда было еще свежо, но и тогда уже верилось с трудом. Проверить это у самих Кудрявцевых мне как-то не пришлось в

голову, – тогда я ведь не думал о старческих воспоминаниях. Вероятно этим аристократизмом надо объяснить и наезднический спорт Д. Ф-ча. Возможно, впрочем, объяснить это и докторским предписанием, как средство для укрепления сердца, которым недомогал и В. Н. Потапов.

Не чуждался Д. Ф-ч и профессорских вечеринок. Однажды у Кудрявцевых все были навеселе. Был и Д. Ф-ч. Я в шутку спросил Капитолину Васильевну, при Д. Ф-че, ухаживал ли он в молодости за дамами? – Она сообщила, что Д. Ф-ч играл и в веревочку, и в фанты и еще во что-то подобное, – и что не то Д. Ф-ч ухаживал за какой-то интересной (не помню, кто она была) особой, не то сама эта особа за Д. Ф-чем, и сам Д. Ф-ч конфузливо сознавался в этом. Вообще он, думается, не был склонен выдавать себя за девственника.

Припоминаются именины Д. Ф-ча, 21-го сент., как пережиток старины академической. Именинный пирог, кажется, был своего рода культом у моих предшественников. – при мне постепенно исчезающим и наконец совсем прекратившимся. Думаю так потому, что Д. Ф-ч, сколько помню, никогда не уклонялся от именинной повинности. А уклонявшихся в старину от этого тогдашний сатирик, сын П. С. Делицына Петр Петрович, Вифанский преподаватель (Вифанская Семинария и Академия находились в тесном общении между собой), бичевал едкими карикатурами и эпиграммами, напр. Е. В. Амфитеатров, гонимый ангелом с метлой в руках, – С. К. Смирнов, в день именин занимающийся архивными изысканиями в Хотькове, причем архив нарисован в виде Хотьковской игуменьи – старухи, и под. Обычно вся корпорация, с ректором во главе, являлась к имениннику на квартиру, где уже, после поздней литургии, пил чай местный причт Ильинской Церкви со старостой-художником Мальшевым. При прежних штатах квартира могла быть достаточно поместительной, но в мое время квартира набивалась посетителями как бочка сельдями: кое-как можно было стать где-нибудь. Зато в тесноте, да не в обиде: Внушительных размеров именинный пирог, разные закуски, холодное, развар, жареные цыплята и рыба и прочее, всего в изобилии. Как постоянные особенности именинного культа Д. Ф-ча отмечаю три: Филаретовка особого настоя травник, будто бы употреблявшийся митр. Филаретом, изрекшим: одну должно, другую можно, а третью осторожно (обычно этот анекдот и напоминался тут Д. Ф-м), – моченый арбуз, очень невкусный и неизвестно почему подававшийся, так как в это время в Посаде легко найти и свежих арбузов, – вероятно это был какой-нибудь тоже пережиток, – наконец, обязательный бокал шампанского, очевидно тоже остаток старины

глубокой. Такой обряд именованного пирога при мне не справлял ни один еще из старых профессоров. А Д. Ф. был ему верен до самой смерти.

Впрочем, все это – неважное, а постороннее или внешнее для личности Д. Ф-ча. Главное значение его для Академии и ее истории заключается в его нравственном влиянии на других. Он полагал семена добра в души всех, знавших его и вступавших с ним в какие-либо отношения, как студентов, так и профессоров.

Это значение Д. Ф-ча для Московской Академии я старался посильно выяснить в речи на сорокалетнем юбилее Д. Ф-ча, по неизвестным мне соображениям тогдашних заправил Богословского Вестника своевременно в нем не напечатанной. Пользуясь настоящим случаем, нахожу уместным закончить этой речью мои воспоминания о Д. Ф-че.

Речь в 40-летний юбилей профессорской службы Д. Ф. Голубинского

Пречестный наставник наш,
Дмитрий Федорович!

В торжество исполнившегося 40-летия Вашего профессорского служения при Московской Духовной Академии имею искреннюю и неодолимую потребность говорить.

Какой-то знаменитый естествоиспытатель, превеликий соорудив телескоп, желал при помощи его усмотреть на небе Бога... и не усмотрел, не только Бога, но и самого неба. Вместо того обрел он нечто совсем иное – силы и законы природы.

Так, почти четверть века тому назад, начинал первый урок свой по физике (о силах природы) преподаватель сей науки в той семинарии, где учился я. Это говорил 16 – 18-летним мальчикам, сам немного старше их – наставник, – говорил красноречиво, увлекательно, нервозно. Легко представить себе, какое неотразимое влияние могли иметь подобные поучения на впечатлительные, незащитные и неустановившиеся умы юнцов, едва только начавших задаваться вопросами о себе, мире, Боге. Многие, уверен я, из слушавших подобные уроки о материальных силах природы, поставленных на место неусмотренного в телескоп Небесного Бога-Отца, – этим и подобным внушениям обязаны тем, что совсем завертелись в круговороте материальных стихий века сего безбожного. Преждевременно сошедшие в могилы, доселе влачащие разбитую жизнь, даже здравствующие физически многие испытали на себе силы этого стихийного круговорота – в качестве разных секретарей при полицейских управлениях, писцов в городских думах, урядников, корреспондентов при

убогоньких газетках, сотрудников лубочных журнальцев и изданий, и т. п. И все это – лучшие силы духовенства, надежды Церкви и ее науки, радость и опора бедных семей...

Благодарение Промыслу, я избежал этого круговорота и благополучно, со многими другими счастливыми, приведен был в тихую пристань Московской Духовной Академии – в мирный храм сей наук духовных. Случилось так, что первая из выслушанных мной здесь лекций была – по естественно-научной апологетике. Раскрывалась мысль, выраженная словами Писания: Небеса проповедают славу Божию и о делах рук Его возвещает твердь (Псал. 18, 1). Речь шла о дивных проявлениях Промысла – *Божественной премудрости и благодати* – в облегающей наш дух материальной природе.

Слушая эти речи, мне становилось как-то особенно ясной и близкой мысль, что для зрения небес и Бога нужны не усовершенствованные инструменты физические, но внутреннее око сердечное и сила духовная потребны для того, чтобы невидимое божество стало созерцаемым через рассмотрение творений, – чтобы ощутить и найти Того, Кто недалек от каждого из нас и в Ком мы живем и движемся и существуем (Римл. 1, 19–20; Деян. 17, 27–28).

Божество живет не в рукотворенном храме, так чтобы можно было увидеть Его в нем, хотя бы и издалека и через телескоп, но обитает Оно в духовном храме мира, в идеальной стороне его бытия. И усматривается Оно не телесным оком, хотя бы и усиленным через телескоп, и не в чувственно-видимых небесах, – но духовным оком ума созерцается Оно в духовном небе и в мире невидимом, недалеко от каждого из нас, через духовный телескоп богоподобной стороны нашего существа, в вечном и духовном мире правды, добра, красоты.

Слова, которые способны были вызвать подобные мысли, говорил не юноша-преподаватель, – но их изрекал почтенный профессор, – изрекал без прикрас и анекдотических отступлений о трубе, направленной к небу для отыскания там Бога, – изрекал спокойно, отчетливо, властно, как будто бы вещания профессора служили эхом самой истины – простой и власти имеющей (Матф. 7, 29).

Но в царстве, где живем мы духовно, велик не тот, кто только научает, но кто *творит* и учит (Матф. 5, 19). Достоподражаемый образец верного сына церкви православной и ревностного последователя Христова Вы дали не одному десятку молодых поколений, воспитавшихся в нашей Академии на служение Православной Церкви и христианских наук.

Не стану и права не имею касаться частных и домашних, так сказать,

подвигов Вашей христианской жизни. Я могу и должен говорить только об общественном служении Вашем в качестве христианина, – о том, что у всех на виду, – что горит, как светильник перед каждым, – что отовсюду, видно, как град стоящий наверху горы. Разумею, во-1-х, Ваше истинно-христианское служение духовной науке и Православной Церкви в качестве одного из главнейших деятелей Братства, покровительствуемого великим угодником Христовым Сергием: во-2-х – Вашу ревность в посещении богослужений академического храма, и в –3-х – ваши научно-апологетические труды печатные. Эти три подвига единят Вас духовно с другим незабвенным наставником нашим – В. Д. Кудрявцевым, коего мирная и вечная память осеняет Вас и нас непрестанно. Как бы ни было заносчиво и дерзко нерадение в отношении к христианской религиозности в молодых и легкомысленных головах, – но непреклонная верность церкви и искренняя религиозность имеют неотразимое обаяние на юные сердца. И это потому, что суровый круговорот материальной жизни по стихиям мира, а не по Богу, еще не успел исторгнуть из юных сердец семя слова Христова и заглушить в них голос природно-христианского сознания души. В этом отношении, Д. Ф., Вы были и есть незабвенный наставник наш и по выходе нашем из школы, когда мы уже погружены в круговорот сей жизни, – возбуждая в душах наших сознание ее истинной, т. е. христианской природы. И если видящий Христа видит Отца Небесного, то и имущий ум Христов, возгревающий в себе чувствования Христовы, творящий дела Христовы – являет собой Бога, ибо Христос в нем, как и Бог во Христе (1Кор. 2, 16; Филип. 2, 5; Иоанн. 14, 9; 15, 10 сл. 17, 21–23 др.).

Я сказал, что как истый христианин, Вы будили в нашей душе сознание ее истинной природы. Поэтому мое слово было бы не полно, если бы я не указал и на общее человеческое служение Ваше своей жизнью. Если, говорю конечно предположительно и условно, – если бы нашлись такие, у коих ясность христианского сознания несколько затенена какими бы то ни было идолами мысли, науки, деятельности и пр., – но у коих действительна и сильна общечеловеческая сторона нравственного сознания, то и от лица таковых, говорю это смело, я чувствую за собой долг высказать Вам наиглубочайшее почтение и преискреннюю благодарность. Так как истинно-человеческое правда-сознание есть в сущности и истинно-христианское, то оно не может не видеть в Вас *истинно-хорошего человека*.

Не имею нужды подробно раскрывать общеизвестные подвиги этой человечности или гуманности Вашей – нищелюбия, неукоснительного служения долгу, высокой добросовестности в исполнении возлагаемых на

вас обязанностей и пр. Если бы тот старинный чудака, что где-то за горами и долами, за далекими морями, в огромном городе, днем с фонарем, искал человека, – каким-либо образом зашел бы теперь в наш маленький Посад, – я уверен, ему не было бы здесь нужды ни в каких вспомогательных орудиях для отыскания человека. Каждый обитатель богохранимой Академии нашей, не только здесь, но и во всех городах обширной России – необинуясь указал бы ему на Дмитрия Федоровича Голубинского, как на истинно-хорошего человека.

Говоря все это, я чувствую, что моими словами движут сердца всех многочисленных сынов Академии, коих воспитывали Вы в течение 40-летнего профессорского служения Вашего. Уверен я, что немощное слово мое служит лишь слабым выражением и отзвуком тех чувств благодарности к Вам и почтения, какими исполнены и бьются сердца всех питомцев Ваших. Посему нимало не опасаясь обвинения в самозванстве или в риторических преувеличениях, сознаю за собой полную правдоспособность от лица всех этих питомцев Ваших провозгласить: «Благотворному профессору, добродетельному христианину и истинно-хорошему человеку – Дмитрию Федоровичу Голубинскому многая лета!»

Специальным предметом богословского отделения на первом курсе был только один – патристика, 4 часа в неделю. Преподавал ее молодой, еще только начавший профессуру, приват-доцент (по теперешнему исправляющий должность доцента) Николай Иванович Лебедев. Неудобство приват-доцентского положения состояло в том, что молодому наставнику приходилось гоняться одновременно за многими зайцами: надо было составлять лекции, давать пособия студентам по третным (семестровым) и годовым кандидатским сочинениям, руководить студентами при писании этих сочинений и читать их, – исполнять поручения Совета – составлять рецензии магистерских и докторских диссертаций и возражать на диспутах, – и при всем том еще работать над обязательной своей магистерской диссертацией. (Теперь почему-то вошли в употребление уничижительные: «кандидатка, магистерка» – признак времени что-ли?). При таких условиях, конечно, нельзя было ожидать хороших лекций. Н. И. ограничивался переводом кратких предисловий какого-то издания мужей апостольских и апологетов, кажется, Функа. Потом к экзамену мы готовились по предисловиям к русскому переводу прот. П. А. Преображенского. Надо прибавить еще, что большая половина лекций была опущена преподавателем вследствие того, что он страдал болезнью продолжительных и частых запоев. Это несчастье довело талантливого и многообещающего Н. И-ча (ему принадлежат: самая умная

проповедь на смерть А. В. Горского и дельная магистерская диссертация об апологии Оригена против Цельса) до того, что он принужден был оставить академию и скончал свою горемычную жизнь, кажется где-то в московской больнице, если даже не на улице.

Лекции вообще мало обременяли студентов, особенно богословов и практиков. Много свободного времени оставалось для занятия языками, чтения книг и работ над третними сочинениями, называвшимися старинным термином: семестряки. Весь курс писал два сочинения по предметам общеобязательным и одно по специальному. Сроком для первых двух было первое полугодие – до рождественских каникул, а для третьего второе полугодие – до Пасхи. Давалось несколько тем, от 8 до 12, по каждому предмету, на выбор студентов.

По философии (такое название у студентов и в расписании носила кафедра метафизики и логики – см. отчеты и журналы) В. Д. Кудрявцеву я взял тему: «Справедливо ли мнение философа Гартмана, что небытие мира предпочтительнее его бытия?» Книга Гартмана *Philosophie des Unbewussten* была тогда еще новинкой, русского перевода и критических разборов ее не существовало, по крайней мере я не знал их. Полагаясь на свое знание немецкого языка и критический навык в семинарии⁹, я смело взялся за эту тему. Пошел к В. Д-чу, он дал мне книгу Гартмана и указал небольшую нужную мне главу. Давал ли при этом какие-либо директивы и разъяснения, не помню. Думаю, что не давал вообще никаких, так как это было не в духе В. Д-ча. И вообще он был всегда скуповат на слова и застенчив даже в домашней обстановке, при гостях и в гостях.

Прочитал не только указанную главу, но и всю книгу. Она меня очень заинтересовала, особенно в тех отделах, где доказывается действие несознательного в внесознательных процессах: заживление ран, питание, половой инстинкт и пр. Это дало мне возможность главу о предпочтительности небытия мира перед бытием его поставить в связь с общей системой Гартмана. Приобретенный в семинарии философско-критический навык дал мне возможность без особых затруднений раскрыть антинаучную фантастичность и полный произвол в рассуждениях Гартмана, объяснить приводимые им явления действием Божественного Разума и Промысла в мире, показать софистичность доводов за предпочтительность миронебытия перед миробытием и противопоставить им обратный тезис. Сочинение вышло около шести листов убористого письма и удостоилось отличного отзыва за точность и чистоту языка, последовательность и связность мышления, самостоятельность работы. Это сочинение, как и все вообще семестряки, я

писал только один, без конкурентов. Другие темы были проще, сводились к более или менее самостоятельно продуманному изложению русских пособий, преимущественно самого В. Д-ча, книги «Премудрость и Благодать Божия» и др. В оценке сочинений В. Д-ч вообще был очень снисходителен, баллы ставил высокие, особенно за те, что писались по статьям или лекциям самого В. Д-ча, напр. о Промысле Божиим. Мне самому сочинение мое очень нравилось, и я тужу, что не напечатал его своевременно.

По психологии А. И. Смирнову я писал о сне и сновидениях. В пособие дана была профессором книга Мори. Было ли еще что, не помню. Но мне показалось этого очень мало, и я решил обратиться к А. В. Горскому. Подогнал ко дню своего дежурства по столу, когда каждый после ужина должен был являться с докладом к ректору. Папаша взял меня под руку и стал ходить по ковру в зале. Спросил: чем я занимаюсь? – Языками, отвечаю, – французским и английским. Какое сочинение пишу? – По психологии о сне и сновидениях. Какие пособия? – Мори. Что же содержится в этой книге? – Физиология и психология сна и сновидений. И только? – Да, отвечаю, – но хотел бы еще что почитать на тему. Папаша, немного подумав, привел меня в другую комнату. Левая стена вся была уставлена огромными шкапами с книгами. Взяв свечу в медном подсвечнике со стола, стоявшего направо, с кожаным диваном перед ним, он подвел меня к одной полке и пальцем указал на одну книгу и велел прочитать заглавие. Читаю: *Sehlar und Todt von Splittergerber*. – Надо, говорит, обратить внимание на религиозно-мистическую сторону сновидений и еще что-то, не помню. А при прощальном благословении, как мне показалось, с ироническим оттенком в голосе и глазах заметил: а вы постарайтесь и собственный опыт привлечь к сочинению, понаблюдайте за своими сновидениями, но может быть вы их не видите! – Последнее верно, своих снов я обычно не замечал и не помнил. Впрочем иронии-то быть может и не было, она могла только показаться мне. Дело в том, что я любил работать над сочинениями по ночам, со свечой, в ночной тишине, когда все уходило в спальни. Да и после обеда, вместо гуляния, я не прочь был полежать с книгой в руках и нередко по-стариковски вздремнуть. Прочитал я книгу с большим любопытством, так как в ней много сообщений о таинственных и загадочных снах. Однако же я отнесся к этим рассказам с сомнением, сообщения показались мне научно не проверенными, да и, признаться, побаивался психолога, почему-то казавшегося мне позитивистом и эмпиристом. Но и ограничиваться сокращением и систематизацией разбросанного у Мори материала я

считал как бы ниже студенческого достоинства. Решил оригинальничать: весь физиологический и психологический материал Мори свел к доказательству положения, что сон для человека есть не природная необходимость, а унаследованная вековая привычка. Кроме Мори и разных собственных своих соображений и доказательств (не помню, каких, но верно пустячных и наивных), я пустился и в библейское богословие. В Библии-де не сказано, чтобы Адам спал до того момента, когда Бог «навел исступление (экстаз по-греч.) на Адама и он уснул» (Быт. 2, 21 по LXX). Значит и сон Адама не был делом природы его и он прежде не спал, а подвергся сну только вследствие особого и сверхприродного действия Бога на Адама в экстазе, не составляющем прирожденной человеку необходимости и т. д. в том же роде. Пошла в ход и семинарская еврейщина: *тадема*-де значит обморок, летаргия – состояние исключительное, а не постоянное и нормальное – и глагол «и навел» евр. *вайаппел*-гифиль, означает, как-бы насильственное наведение Богом обморочного или летаргического сна на Адама, и тому подобное, чего теперь не припомню. Сочинение вышло огромное, 20 с лишком листов убористого письма. С большим нетерпением ждал я оценки этого своего семинарского оригинальничанья. Наконец дождался: балл 5, и ни в начале, ни в конце, ни в середине ни единого замечания, ни одной подчерки, даже там, где за спешностью переписки были пропуски слов и грамматическая бессмыслица. Уж читалась ли моя толстая тетрадь, даже пробегалась ли, даже смотрелась ли и ворочались ли листы? Не мое ли первачество в приемном списке и толстота тетради вызвали в профессоре такую высокую оценку, единственную для всего курса? – Вопросы эти остаются для меня неразрешенными доселе. Это сочинение, как и другие первокурсные и семинарские с училищными упражнениями, к сожалению, сгорели в пожаре дома родителя моего. Но я не особенно тужу об этом сочинении: чувствую, что ничего дельного в нем быть не могло.

Во время рождественских каникул написал проповедь, назначенную мне на Сретение. Взял текст Лук. 2, 25: «Человек сей праведен и благочестив, чая Утехи Израилевы». Темой поставил: Христос как единственная и истинная утеха человечества. Приступ состоял в изображении отчаянного состояния человечества (иудейства и язычества) перед явлением Христа Спасителя. На этом мрачном фоне отчаяния выступает светлая личность старца Симеона с его радостным ожиданием Израилевой Утехи. Сравнение с современным состоянием человечества, сходным с тогдашним. Переход к теме: и для прошедшего и для будущего человечества есть только Один Утешитель – Спаситель Христос.

Раскрытие темы – по отношению к уму, сердцу и воле. Заключение не помню. Получилось нечто спротяженно-сложенное, витиевато-напыщенное, но кое-где и с настоящим чувством и искренним одушевлением. Читал Ф. А. Сергиевский, дал отличный отзыв с замечанием: «но это не проповедь, а журнальная статья в религиозно-нравственном духе». Быть может это был намек на то, чтобы послать статью в Душеполезку или в какие епархиалки. Но я тогда и не мечтал о таких затеях. К произнесению моя проповедь допущена не была, даже в сокращении. Вообще с проповедями мне не везло и в семинарии. Хвалили, ставили отличные баллы, но к желанному мною произнесению не допускали.

После рождественских каникул до конца года дано было третье семестровое сочинение – по специальности, т. е. по патристике. Но предварительно я подвергся сильному выговору от Папаши за несвоевременное возвращение товарищей в академию. Числа 9-го или 10-го января призывает меня А. В-ч и начинает гневно распекать меня: «Что это такое? Почему не являются студенты? Надо заниматься и дорожить каждым днем пребывания в Академии, а они где, что делают, чем занимаются?» И так долго бранился возбужденным тоном и громко. Я воротился в недоумении, при чем же тут я? Рассказал кое-кому из остававшихся старших студентов. Меня успокоили сообщением, что это бывает с Папашкой, не редко распекает и за нехождение на лекции и за другое что, – не тех, кто виновен, а кого вздумается ему.

Темы по патристике давал Н. И. Лебедев. Других тем не помню, кроме той, на которую я писал, как всегда, только один, именно: «о философументах», – памятник, еще бывшем тогда на положении как бы новооткрытого. Для сочинения молодым приват-доцентом было дано: две большие книги – Бунзена *Nirpolutus und Zelt* и Деллингер – на ту же тему и еще какие-то, теперь не помню, статьи немецких журналов. Преподаватель требовал разобраться в вопросе об авторе (Ипполит Римский, по Бунзену, – или Ориген, по Деллингеру) и времени памятника. Замечательно, что самого памятника дано не было. При знании немецкого языка и критическом навыке составить сочинение по данным книгам и статьям не представлялось трудным. Но Папаша отвлек меня от этой работы в другую сторону. При одном из посещений его, сколько помню, уже великим постом, он спросил меня: на какую тему я пишу по патристике? – Отвечаю. А. В-ч, как мне показалось, быть может и неверно, – поморщился. Кажется, он не любил чисто критических работ. Что же я думаю написать, спрашивает. Говорю: опровергаю мнение Деллингера о

принадлежности философам Оригену и вслед за Бунзеном доказываю, что автор памятника Ипполит, епископ Остийский (гавань близ Рима). – Да, это так, – говорит А. В-ч, – но об этом пишите как можно короче, а лучше прочтите (ведь Вы знаете греческий язык?) две последние, 9-ю и 10-ю, книги памятника, изложите поподробнее содержащийся в них исторический материал и сделайте, какие сможете, исторические выводы и наблюдения, – пособия и материалы можете найти вот тут, в немецких журналах, за такие-то годы. Он показал нижние части шкапов, сказав, что я после ужина и обеда могу приходить сюда и искать нужные статьи. А где же, спрашиваю, я найду сам памятник? – Как? Разве он не дан вам? – Говорю: нет. А. В-ч сейчас же пошел в кабинет и вынес мне третью часть 16-го тома Греческой Патрологии Миня. Я немедленно же принялся за перевод. Но время было уже упущено, искать и читать немецкие журналы мне не пришлось, едва успел справиться с Минем. Материал накопился обширный, а между тем Лебедев строго заявил, что более восьми листов он не станет читать в наших тетрадах. Надо было вогнать в эти размеры хотя бы все главнейшее. Ну и постарался. Тончайшим и мельчайшим письмом на восьми листах я написал сочинение в трех частях: критическая – об авторе и времени (Ипполит), с критикой Деллингера, – характеристика и общее содержание памятника, его источники и пр., – и главнейшая и бо́льшая – историческая (борьба Ипполита с Каллистом и пр.). Читателю наверное пришлось сильно утомлять свои глаза. Может быть от спешки и необычного для меня письма вкралось много орфографических ошибок: на них и на неразборчивость переписки указал рецензент. По-видимому он не мог допустить у меня такой безграмотности. Но переписывал я сам, и теперь у меня при спешном письме бывают такие же ошибки. Объясняю их тем, что при переписке мысль бежит вперед: пишешь одно слово, а думаешь о другом и вносишь в первое орфографию второго. Например, пишу такую фразу: сегодня после обеда я имею намерение пойти в поле. Пишу слово «намерение» я уже думаю о поле и переносу букву «е» (поле) в слово «намерение», и под. Впрочем, по существу рецензия и балл даны отличные. Ознакомившись впоследствии с докторской диссертацией о. Иванцова, я много мне знакомого нашел в ней. Сожалею и об этой работе, что не напечатал ее своевременно: она тоже сгорела во время вышеупомянутого пожара.

К первому или началу второго курса, не помню точно, относятся следующие мои воспоминания о Папаше. Пришлось мне прочитать изданные за границей богословские сочинения Хомякова. При всей, как казалось мне тогда, бестолковости и плохой литературности изложения,

мне очень понравилась полемика с католицизмом и протестантизмом, – особенно мысль, что протестантизм был порождением и продолжением папского рационализма. Но идеей соборности церкви православной и связи православия со славянством, как католичества с романскими, а протестанства с германскими народами, – я увлекся до восторженности. Тут я понял и то, что папашкин экспромпт стоит в связи с идеями Хомякова. Студенты старших курсов передавали, что Папаша интересуется Хомяковым. Было распространено среди нас мнение, что кандидатскую диссертацию можно писать на собственную свою тему хоть с первого курса. Тогда же я надумал писать по догматике; не потому, чтобы мне нравилась эта дисциплина, а потому, что меня что-то бессознательно влекло к Папаше. Мне нравился его вид, череп, брови, глаза, борода, голос, манера говорить, его ряса. Решил воспользоваться первым случаем поговорить с ним об этом. В одно из дежурств он спросил меня, что читаю я. – Только что, отвечаю, познакомился с сочинениями Хомякова. Спрашивает о впечатлениях. Говорю о путанице в изложении, повторениях, вообще литературной необработанности, но идеи соборности церкви, церковности славянства, папистического и протестантского рационализма мне весьма понравились. А. В-ч, как будто не слушая меня и думая про себя, заметил: «у них нет богословской школы, да и ничтоже ново под солнцем, – иже речет: се, сие ново есть, – уже бысть в вещех прежде нас (Екклес. 1, 10), – наши давно написали бы лучше». Слова: «у них» и «наши» он не пояснил. Тут я выскочил со своим предложением писать Папаше кандидатскую диссертацию на тему о Церкви. На это он ответил приблизительно так: «Вот что скажу вам: еще в студенчество свое я начал читать Библию и Отцов в подлинниках, тридцать лет профессорствовал по церковной истории, десять лет читаю догматику, приходилось работать и по патристике, и по канонике и по литургике, знаю богослужебные книги, а написать в десять месяцев сочинение о церкви я, пожалуй, не возьмусь, – не лучше ли писать Вам по догматике церковно-богослужебных книг, – а пока познакомьтесь с ними канонаршите у нас». А перед этим я, по очереди, читал шестопсалмие, канон и часы, – и папашка мне заметил, что видно у нас в семинарии не заставляют читать за богослужением, да и дома меня не приучали к этому. Я напомнил об этом и он ничего не возразил против того, что я был бы канонарх плохой и по голосу и по подготовке. Тут А. В-ч спросил меня: что я делаю после обеда? Большею частью, говорю, долблю новые языки и нередко засыпаю за этим занятием. – А мы, говорит А. В-ч, брали Библию или Отцов в подлинниках и читали их. Вероятно это был намек на то, что

я хотел брать кандидатскую работу не по силам и что с такой темой я не справлюсь. Думаю так потому, что в это как раз время А. В-чу писал диссертацию И. Ф. Мансветов 30-го курса на тему: Новозаветное учение о Церкви, – впрочем напечатанный и защитивший диссертацию уже долго спустя после смерти А. В-ча, в 1879 г. Несмотря на то, что я в то время не имел особого расположения ни к догматике, ни к церковно-богослужбным книгам, я решил тогда же работать на эту тему, только из-за Папаши, потому что именно он ее рекомендовал мне и именно ему пришлось бы мне работать. Но Бог судил иначе: в следующем году А. В-ч заболел и умер в том году, когда я писал кандидатскую диссертацию.

Здесь кстати сообщу мои воспоминания по поводу церковно-богослужбных книг. В детстве и во время училищного курса, когда я стоял в родном храме на правом клиросе, эти громады в почерневших переплетах закапанные воском, представлялись мне чем-то вроде сказочной черно-книжной магии, – бабка сообщала, что черные книги замуравлены где-то в стенах старого Иерусалима, и кто откопает их, тот может делать что угодно: превращаться в зверей, птиц, животных, делаться молодым из старика и пр. под. А псаломщик, подписывавшийся пономарем, Михаил Лукич, свободно бравший книги, шумно ворочавший листы и бойко читавший их и певший по ним, – казался чуть не колдуном чернокнижником. Я вообще питал к ним непонятный страх, хотя и хорошо знал, это книги священные и божественные и что Михаил Лукич – наш пономарь, а не колдун. В училище хотя и учился церковный устав, но знакомить с богослужбными книгами не полагалось. В семинарии, до 5-го класса, никакого касательства к этим книгам тоже не полагалось. Знакомиться с ними надо бы было при изучении литургики, но ограничивались тем, что говорилось о них в учебнике Смолодовича. И вот однажды, когда по гомилетике практиковались в экспромптных поучениях, преподаватель свящ. Глебов вызвал на середину и меня и дал 15 минут на обдумывание поучения – экспромпта на тему: «книга типикон». Никогда такой книги отдельно не видал, – что содержится в ней, не знал (или пропустил, по лености, урок в учебнике, или же позабыл). Простоял бессмысленно 15 минут. Пришла моя очередь и все в классе с преподавателем во главе устремили на меня взоры, вероятно ожидая, что я, как первый ученик, разражусь блестящей импровизацией. Надо заметить, что большинство, если не все, как-то умели справляться с этими импровизациями, а некоторые даже прямо-таки блестящим образом. Стою. Потом раскрыл рот, чтобы произнести обычное: «во имя Отца"... и что-то вообще о богослужбных книгах, как признаке того, что

храм есть школа... Но вместо того, слезы брызнули из глаз, – и 20-летний молодой человек со стыдом должен был сесть на свое место за парту. После такого пассажа опытов с моей импровизацией наставник, глубокое ему спасибо за это, не повторял уже ни разу.

Впоследствии мне пришлось переводить богослужебные книги, мне очень нравятся служебные минеи, октоих, особенно триоди, – но типика доселе не люблю, при виде и имени его всегда вспоминаю свои мальчишеские слезы и не могу простить их ни в чем конечно не повинному типикону.

Однажды забрался я в аудиторию на лекцию А. В-ча. Является старец, читается молитва, медленно входит он на громоздкую кафедру, тяжело садится в кресло, вынимает тетрадь и высоким, как бы плаксивым тенором медленно, почти певуче, начинает читать лекцию о первосвященническом служении Христа. Раскрытие темы состояло в анализе содержания послания к Евреям – кратком, ясном, стройном. Впервые я постиг тогда глубину мыслей и строгую систематичность послания, – гвоздем мудреца засело у меня это послание. Но вот какая странность: я и по сей час не уверен в том, действительно ли слышал я в аудитории эту лекцию, или же это – сон, или же А. В-ч говорил это в беседе со мной, или даже – сообщение мне кого-то другого. Ясно вижу А. В-ча читающим эту лекцию, отчетливо помню содержание лекции, но было это или другое что, не могу решить. Сообщаю это как психологический курьез, могущий иметь значение при критике исторических памятников, особенно разных мемуаров.

Но вообще я не стремился преждевременно посещать лекции А. В-ча, когда был на первом курсе, ибо знал, что он будет читать догматику на третьем курсе. Притом, как говорили старшие студенты, они не интересны. Сообщали однакож об его вольностях: послание к Евреям будто бы не признавал за писание ап. Павла, – отождествлял епископов и пресвитеров в первохристианское время, – превознесение Богоматери превыше херувимов и серафимов склонен был объяснять тем, что ангельская природа хотя сама по себе и выше человеческой, но в отношении к богочеловечеству она ниже и одностороннее, так что обоженое человечество Богоматери ставит ее выше ангелов, – тем же склонен он был объяснять и Быт. 6, 2 и влечение злых духов к плоти, даже свиней. В напечатанных лекциях А. В-ча по евангельской истории опущено событие на браке в Кане и подвергнуто критике сребролюбие как мотив Иудина предательства. Известна также его защита тезиса о возможности епископства для белого духовенства.

А. В-ч раздавал деньги займы студентам, согласно евангельскому повелению: «займы давайте, ничесоже чающе».

Сообщалось о встрече А. В-ча в академическом саду с пьяным студентом, – жестоко и грубо, но бессознательно и бессмысленно его обругавшим, – окончившийся примирением и взаимным плачем оскорбителя и оскорбленного.

От старших студентов я слышал, что Папаша иногда посещал лекции. Случалось, что и лекция неважная и слушателей скудость. Папаша сидел, хмурясь и вздыхая на всю аудиторию, так что эти вздохи слышал и лектор. Объясняли это желанием Папаши выразить свое неудовольствие лектору и отсутствующим студентам. Но в виду открывшейся у него потом болезни сердца возможно объяснить это стеснением деятельности сердца от внутреннего волнения. Волнение доходило до внешних вспышек. Однажды потребовалось официальное объяснение в Совете от целого почти курса. Все или большинство сослались на болезнь, получилось, что-то похожее на эпидемию, и дело оставлено без последствий.

Раз или два в году совершался торжественный обход жилых номеров в часы занятий. Об этом инспектор оповещал заранее, советовалось облагаться книгами, преимущественно фолиантами старинными, тетрадками и проч. А. В-ч спрашивал, чем кто занимается, что читает и пишет, давал советы. При мне А. В-ч обходил номера во время писания сочинений по специальностям. Я раскрыл Бунзена, Деллингера, Миня и пр. и тетрадку своих записей. А. В-ч уже знал о моей теме и незадолго перед тем о ней говорил со мной. Благословив всех, он ни с кем ничего не говорил особо, а только заметил: «пишите сочинения по специальностям?». Говорил ли что в других номерах, не знаю или не помню.

Каждый студент по порядку дежурил один день во время лекций: должен был в журнал записывать за каждым лектором общее содержание лекции и по окончании лекций перед обедом носить журнал ректору. Большею частью эти журналы клались на стол в ректорском приемном зале. Но иногда выходил сам А. В-ч и спрашивал о подробностях лекции. Со мной это было однажды. А. В-ч спрашивал меня о лекции по патристике, – я изложил содержание, так как особенно старался запомнить лекцию, зная о возможности допроса ректора. Никаких замечаний А. В-ч не сделал.

В Прощеное Воскресенье ректор А. В-ч, инспектор С. К. Смирнов, экононом иеромонах Иринея и, если не ошибаюсь, помощник инспектора Спасский приходили в столовую за общий ужин: кормили отменно,

последним блюдом была очень вкусная каша из саги с красным вином. По окончании ужина происходило лобызание в знак взаимопрощения. А. В-ч совершал это торжественно, но и, как мне казалось, с какой-то застенчивостью и конфузливостью, как будто он и в самом деле был в чем-то виноват перед студентами, считавшими его святым папашей, без тени каких-либо недовольств и подозрений. Но многие обходили эконома Иринея и не желали с ним прощаться: были недовольны им и не любили его, – почему, не знаю.

После ужина два служителя А. В-ча, – Николай, изящный молодой человек в сюртуке и крахмальной сорочке, и другой попроще, в сером пиджаке, не помню имени, – являлись в номера с двумя большими подносами, наполненными гостинцами: орехами и конфетами, – предлагали каждому студенту. Мы не стеснялись и захватывали в горсти, сколько кто мог.

Припоминаю проповедь, сказанную А. В-чем в Великий Четверток, перед причащением студентов. Читал по тетрадке, – громко, но монотонно и неинтересно, – об Евхаристии в первохристианстве, – что-то вроде лекции. Содержание проповеди не помню так отчетливо, как представляю содержание вышеупомянутой лекции.

На Пасху после литургии все наличные студенты ходили христосоваться с папашей. Около него на столике стояла большая корзина с красными яйцами: каждому собственноручно давал по два яйца. В отличие от прощального обряда, это делалось с какой-то умильной радостью, как бы внутренним сиянием.

Такой же образ папаши остался у меня от его служения литургии, особенно от возгласа: «благословение Господне на вас, Того благодатию"... К чувству наивно-детского благоговения, веявшего от папаши во всю обедню, тут присоединялось еще умильно-радостное как бы сияние, особенно в глазах. Благодаря папаше я полюбил самое чинопоследование литургии, и доселе всегда и невольно представляю его образ и этот его возглас, когда он произносится за литургией.

И это – не личное мое впечатление: слух о благоговейном служении А. В-ча имел широкое распространение, многие нарочно приезжали послушать его служение и посмотреть его благообразный пресвитерский лик.

Да, это был истинно Святой Отец!

И поистине блажен я и похваюсь тем, что, по изволению Божию, хотя ненадолго и немного коснулось и меня веяние духа папаши! Еще блаженнее те, кои сподобились знать его долее и ближе! Блаженны все,

кто в юные годы своего воспитания и учения имели возможность испытать благообразие, благоговение и любовь своих наставников! Глубоко несчастны, напротив, те, кого коснулись и может быть даже заразили напыщенность тщеславия, лицемерие ханженства, гримасничанье нигилизма и политиканство карьеризма. У них нет ни святых матерей в лице школ, ни святых отцов в лице начальников и наставников. Это – люди без школы, преданий, образцов, соборности и, пожалуй, церковности.

Таким был А. В-ч для всех питомцев Московской Академии, его знавших, как прежних, так и моего времени и курса. Исключений, можно сказать, не было: одна – две инсинуации, о которых срамно и вспоминать, надо, по-моему, относить к празднословию глупого хулиганства, а не к хуле на дух папаши.

Никаких репетиций и практических занятий или зачетов в течение всего первого курса на нашем богословском отделении ни по специальности (т. е. патристике), ни по предметам общеобязательным – не было. Не было их и на практическом отделении. Но они были, кажется, на историческом отделении по некоторым предметам, – если не ошибаюсь, по общей гражданской истории – П. С. Казанскому и на 2-м курсе по какому-то предмету.

Экзамены предварялись двумя или тремя, не помню, письменными сочинениями или экспромптами, писавшимися каждый во время лекционных часов, от 9 до 2-х. Какое значение имели эти экспромпты: проверку ли усвоения каждым лекций по той или иной науке, или же удостоверение в сохранности у каждого студента способности мыслить и писать, – не знаю и теперь не могу дознать, за полным забвением тем и предметов, на которые и по которым писались эти экспромпты. Решительно удостовериться могу только то, что ни та ни другая цель не достигалась, ибо общее содержание ответа было делом общекурсовым или общеотделенским. За исключением одного-двух оригиналов, прочие писатели вероятно мало чем отличались друг от друга. Полное забвение мое о них показывает их ничтожество в моем тогдашнем студенческом сознании.

То же должен я сказать и об устных экзаменах. По сравнению с устными ответами баллы по третним сочинениям брались в четыре раза, (если не в 8), проповедь в три, экспромпты в два. Значение экзаменских отметок было весьма невелико. Это знали и преподаватели и студенты. Поэтому первые не особенно заботились о полноте и системности курсов, а вторые не слишком усердствовали в изучении того, что давалось к

экзамену. А давалось очень немного вопросов из прочитанного курса, писанных на билетах, приблизительно от одного до двух листов. Билеты составлялись самими студентами или по лекциям или по книгам, а иногда и по измышлению составителей. Количество билетов было весьма невелико, немного более числа экзаменов, от 15 до 20. Для ответа достаточно было прочитать билет один-два раза. Приходилось отвечать и не читая билета, по своим личным познаниям и соображениям, какие являлись во время уже самого экзамена. Вызывались к экзаменному столу с парт по три человека, – пока отвечал первый, двое имели время обдумать ответ. На экзамене присутствовали трое: председатель – помощник ректора на отделении, у нас В. Д. Кудрявцев, – профессор науки, по которой производился экзамен, – и ассистент. Вопросы и билеты ни по одной науке не представляли полной системы, – да этой системы не было и в самых курсах. Читались отрывки из систем, а на экзамене давались отрывки этих отрывков.

Экзаменские билеты по философии были составлены по лекциям В. Д. Кудрявцева, – просто и ясно. По психологии было несколько билетов из новейшей истории психологии по Владиславлению, часть билетов по семинарскому учебнику Чистовича и два билета, кажется об ощущениях и апперцепции, по лекциям проф. А. П. Смирнова – билеты темно изложенные и трудные для усвоения. По Священному Писанию Ветхого Завета несколько билетов из общего введения и о пятикнижии, весьма элементарных, по лекциям Н. А. Елеонского, заимствованных из общего комментария Кейля. По греческому языку билеты были разделены на четыре группы, по четыре-пять билетов в каждой. Какую группу учил я на 1 и 2 курсах, я забыл, – помню только, что на 3-м курсе я учил группу билетов по новогреческому языку. По патристике билеты были списаны с предисловий к переводу мужей апостольских и апологетов, в издании прот. П. А. Преображенского.

Примечательно: несмотря на все мои теперешние усилия, я никак не могу припомнить ни одной экспромтной темы и ни одного устного ответа. Так слабо было действие их на мое сознание. Как будто их и совсем не было. И это – все экспромпты и экзамены всех трех курсов.

На втором курсе общеобязательными предметами были, кроме древних и новых языков: основное богословие и история философии.

Основное богословие читал доцент И. Д. Петропавловский, потом протоиерей Московский. Высокого роста и весьма представительный. Как лектор он представлялся нам большим курьезом. Сев на кафедру и вынув тетрадь, он начинал издавать такие звуки, кои я затрудняюсь выразить

точным термином. Похожее что-то на откашливание от удушья или застрявшей в горле кости. Но обычное откашливание дает отрывистые и короткие звуки. А тут – продолжительные, тянущиеся, как бы певучие, с аккомпанементом шипения и присвиста, – несколько похожие на те, что издаются страдающими астмой, или катарром горла. Такое шипение и присвист продолжались несколько секунд, даже около минуты. Потом, повертывая лицо направо и налево, лектор начинал читать необычайно быстро, отрывочно и, главное, совсем тихо, еле слышным шепотом, так что невозможно было не только записать лекцию, но и уловить ее слухом. Поэтому я не помню содержания ни одной лекции. И если бы А. В. Горский стал заставлять дежурных излагать содержание этих лекций, что он нередко делал на прошлом первом курсе, – нам пришлось бы играть столбняка. Но А. В-ч ни разу этого не сделал: уже начиналась его болезнь, в декабре заставившая его взять отпуск для отдыха и лечения. Читал И. Д. Петропавловский что-то о религии вообще и о религиях языческих в отношении к христианству. Общее представление о содержании лекций могут дать последние печатные труды П-го. Но только самое общее, ибо немецкий строй лекций в них весьма значительно перестроен на русский лад. Так сужу по тем тетрадкам, что дал нам П-ский для экзамена при ревизоре, представлявшем необработанно-буквальный перевод Пфлейдерера. Судя по последующим литературным трудам П-ского, написанным уже во время священнического служения его на московском приходе, надо полагать, что из него выработался бы прилежный, дельный и серьезный ученый апологет христианства, как из Н. А. Елеонского получился бы дельный библиолог. Но многочадие обоих почти сверстников по курсам (26 и 27-го курсов) вынудило их, при скудости предстоявшего им если не постоянного, то многолетнего доцентства, променять Академию на Московские священнические места.

Историю философии читал экстраорд. проф. В. Н. Потапов, по внешней стороне такой же курьез, как и П-ский. С большим сердцем и, кажется, без одного легкого, он хрипло и гнусаво, торопливым темпом прочитывал всю историю философии: греческой, средневековой и новоевропейской, кончая Шопенгауэром. И это – при четырех, по расписанию, и двух – на деле, часах в неделю, т. е. около 90, вернее 45 часов во весь курс! Ясно, что такая широта курса могла достигаться только на счет его специализации. Перечисление имен, несколько заметок о жизни и личности философов, список их идей и сочинений, связь с предшественниками и преемниками – все эти имена даты, идеи скакали у лектора как имена поминаний у дьячков в родительские субботы. Записать

лекции не было возможности, запомнить – тем более. Но, судя по всему, лекции были весьма содержательны и учены. Впоследствии мне пришлось убедиться, что В. Н-ч в подлинниках знал греческих, средневековых и новых философов, если не всех и не все их сочинения, то главнейших и главнейшие. Он был глубокий знаток языков классических, особенно греческого (долгое время состоял переводчиком и редактором святоотеческих творений, издаваемых Моск. Дух. Академией), и свободно владел английским, французским, немецким и, кажется, итальянским. Ему принадлежит фраза, сказанная им о В. Д. Кудрявцеве: «это – философ, не читавший ни одного философа». Из нее видно, как понимал он свое звание профессора истории философии. Вообще он, кажется, не склонен был чтить В. Д-ча, именно за его не всестороннюю начитанность в философах, хотя оправдание В. Д-ча надо сказать, что его дисциплина метафизики и логики, кажется, могла обходиться и без специализации в изучении философских оригиналов и без погружения в детальное изучение творений всех философов. Для меня важен идеал философа, о котором мечтал и которого конечно желал достигнуть сам В. Н-ч. И если трудно признать, чтобы В. Н-ч достиг здесь совершенной полноты, то во всяком случае он ставил это своим идеалом, хотел и домогался этого. И когда в компании, где произнес он выше приведенную фразу о Кудрявцеве, мы (тогда уже преподаватели академии) спросили: кого же он считает философом в России, – он ответил: «Романа Ильича Левитского (34-го курса, потом в 1880-м году ставшего на недолго приват-доцентом по основному богословию, на место И. Д. Петропавловского, – и вскоре умершего) и Михаила Ивановича Каринского». (Беседа происходила, кажется, в год получения Каринским доктора философии в Петрогр. Университете и избрания Левитского приват-доцентом, после защиты *pro legeni*, Москов. академии, т. е. в 1880 или 1881-м году).

Специальными предметами богословского отделения на втором курсе были два: еврейский язык по 3 часа в неделю и сравнительное богословие по 4 часа. Первый преподавался весьма опытным и умелым профессором П. И. Горским, знатоком не только еврейского и сродных ему, но и греческого, латинского и трех новых – немецкого, французского и английского. Впоследствии мне пришлось узнать, что им выписывались важнейшие новинки его науки на указанных трех языках, и он тщательно следил за литературой своего предмета по периодическим изданиям на этих языках. За помощью по халдейскому языку мне пришлось обращаться к нему потом, при писании кандидатской диссертации. Для преподавания еврейского языка он владел тремя полезными приемами. Первый: он умел

облегчить запоминание трудностей, особенно для тех, кто впервые приступал к изучению языка, – написав, например, первую букву мелом на доске, он, прибавляя присловье «да-с» едва не к каждому слову, пояснял: *алеф*, да-с, первая буква, значит бык, да-с, в древне-финикийском письме ясно видна, да-с, бычья голова, да-с, с двумя рогами, да-с, и теперешнее начертание в квадратном письме (предварительно сообщалась краткая история письма) несколько сходно с финикийским, – *бэт* – дом, да-с, сходство с домом есть, вот и крыша, да-с *гимель* – верблюд, и в теперешнем и в древнем письме напоминает горбатого с длинной шеей и головой верблюда, – *далет* – дверь, и т. д., – или в таком роде: *патах*, да-с, любит сочетание с *шевой* и под. Второй: он сокращал теорию до мало вероятного минимума, преподавая ее месяца полтора – два, не более, и быстро переходя к переводной практике студентов. Третий: он умел заставить студентов учиться языку строгостью на экзаменах и задаванием каждому перевода едва не через неделю, чему благоприятствовало малое число студентов, около 12, в среднем. Благодаря этим приемам и редкой способности П. И-ча повторять одно и то же до бесконечности, все до одного, в течение года, выучивались без особых затруднений разбираться в переводе еврейской библии и во всех почти тонкостях экзегеса. Однакож, в последние годы профессорства П. И-ча, дело изменилось к большому худу. По ходатайству Совета, при деятельном участии самого П. И-ча и по его главному почину, еврейский язык сделан был общеобязательным предметом: большая аудитория для такого преподавания неудобна, большинство и не желало учиться языку, считало для себя это ненужным, даже вредным, – кончилось тем, что мне пришлось сидеть ассистентом на экзамене у П. И-ча, когда студенты отвечали каждый свою строчку, с надписанным по-русски чтением, разбором и переводом. Быть может такое положение дела побудило, между прочим, П. И-ча ускорить свой выход в отставку, до получения докторской степени и ординатуры.

Он же, на 3-м курсе, преподавал библейскую археологию, 2 часа в неделю. Сообщались только самые общие и краткие сведения: о скинии, ее устройстве, принадлежностях; о священных лицах, их одеждах, обязанностях, – о жертвах и пр. Сообщения сопровождалось в конце лекций показыванием печатных рисунков из какого-то учебника. Все было просто, интересно, запоминалось легко. Помню, что я с некоторыми товарищами (П. В. Тихомировым и еще с кем-то) очень интересовались скинией, особенно расположением на ней верхнего покрова. На одной лекции, когда показывался рисунок стола с хлебами предложения (П. И-ч называл их лепешками), кто-то спросил П. И-ча: пресные или кислые были

эти хлеба? – П. И-ч смутился и не мог ничего ответить. Привожу это в показание того, как простые предметы могут ставить в тупик людей, привыкших вращаться в сложных умственных процессах.

Среди студентов П. И-ч считался человеком стойких убеждений, ревнителем правды и героем честности. Какие деяния П. И-ча могли дать основание для выделения его из корпорации профессоров и наделения его такими качествами преимущественно перед другими членами ее, я не знал тогда.

П. И-ч был только членом Совета, ведавшего одну учебно-ученую часть, – и никакого касательства к Правлению и академическому хозяйству не имел. Теперь думаю, что это могло быть отголоском докторства П. С. Казанского, дяди П. И-ча, – и полного провала П. И-ча, когда он с С. К. Смирновым баллотировался на должность инспектора академии.

Ученое реноме П. И-ча стояло очень высоко, чуть не прямо после А. В. Горского. Говорили, что ему поручено академией наук издание еврейского лексикона. Слух этот, по-видимому, был вызван действительным намерением П. И-ча издать перевод какого-то еврейского лексикона, не то Шюрера, не то Штракка.

Но ученый авторитет П. И-ча еще выше поднялся после его критических выступлений против Михаила и на докторском диспуте С. К. Смирнова. Оттиски своих критических статей против Михаила из Православного Обозрения П. И-ч, говорилось (лично не знаю), читал студентам старших курсов, с таким предисловием: «Да-с, покажу Вам, господа, как не подобает писать ученые труды и как подобает писать критику на них». Если это и анекдот, то он весьма характерен. На нашем курсе он только раздал свои брошюры с замечаниями, в духе вышеприведенного. Эти выступления П. И-ча были одной из других многих причин как-бы временного затления профессорско-ученого авторитета Михаила, чему содействовали и довольно еще слышные тогда отзвуки студенческих волнений во время недавнего инспекторства его. Ими объясняется сообщение Высокопр. Николая Варшавского о присоединении к прежнему студенческому прозвищу Михаила «Водолей» нового «раввин Равва» (эпитет *большой* толкований древнееврейских на пятикнижие архим. Михаил превратил в имя раввина) и о надписи в беседке академического сада: «Мишка водолей, знаменитый Раввин Равва», которую прочитал и сам Михаил, во время ежедневного посещения им беседки, после обычного променада по алее акад. сада. Впоследствии, если не ошибаюсь, от преподавателя Моск. Семинарии Д. П. Боголепова я

узнал, что архим. Михаил и П. И-ч собирались издавать комментарий вместе. Но Михаил, или по недоверию к работоспособности П. И-ча, или из других соображений, взялся за дело единолично, устранив П. И-ча. Этим объяснялось и резкость критики П. И-ча и осведомленность его в пособиях Михаила.

На докторском диспуте С. К-ча возражения П. И-ча выяснили, что наш инспектор вовсе не такой знаток греческого языка, каким мы его считали. Ни одного из многочисленных возражений П. И-ча я теперь не могу воспроизвести. Помню только, что С. К-ч почти все время молчал, а под конец как будто иронически сам стал указывать П. И-чу и еще другие недостатки своей работы вроде тех, какими донимал его оппонент.

Но сам П. И-ч, при проницательном уме, обширной памяти и больших лингвистических знаниях, не отличался научно-литературной производительностью. История Тридентского собора – магистерская диссертация, при обычном и широком соучастии А. В. Горского, – перевод 76 – 156 псалмов, две – три небольших статей – критических и публицистических, столько же заметок по иерусалимской типографии, да кратко-популярное экзегетическое обозрение книги Исход: вот и все, если не ошибаюсь, печатные труды П. И-ча.

Сравнительное богословие преподавал Николай Михайлович Иванцов, младший брат известного протоиерея А. М. Иванцова-Платонова, профессора церковной истории в Московском Университете и законоучителя Московского военного Александровского училища. Официально он носил не имевшееся в тогдашнем академическом уставе звание исправляющего должность доцента. Звание доцента носили, как и теперь, магистры, для коих не было свободной штатской экстраординатуры, – звание ординарного профессора имели доктора, занимавшие штатную ординатуру, – а звание экстраординарного профессора – магистры и доктора, состоявшие на штатной экстраординатуре. Звание приват-доцента носили кандидаты-магистранты (т. е. сдавшие магистерский экзамен и еще не защитившие магистерской диссертации), защитившие *pro venia legendi* (сочинение, заменявшее магистерскую диссертацию и дававшую право на чтение лекций) и занимавшее как штатные так и нештатные кафедры (напр. Историю Византии И. И. Соколов). Но Н. М. Иванцов кончил по старому уставу, не представив курсового сочинения, за которое давались степени кандидата или магистра (за лучшие), без напечатания их и публичной защиты. Он, как и многие другие товарищи 27-го курса 1870 г., оставлен «без присуждения ученых степеней за непредставлением сочинений, или за

представлением оных в неоконченном виде». Сочинение И-в писал А. В. Горскому на тему о церкви. Оно так и осталось не написанным или неоконченным до самого выхода Иванцова из Академии в московские иереи, по уставу 1884 года, уничтожившему отделения и кафедру сравнительного богословия. Начинать было Иванцов печатать что-то из своей диссертации, но так и застрял на начале, в дебрях мелочной полемики с немцами. Впоследствии, когда я уже преподавателем академии ближе познакомился с Н. М-м, было ясно, что он, наделенный многочадием, как и его товарищ Петропавловский, смотрел вон из Посадской Академии в Москву на иерейство. Устав 1884 г. разрешил нелепое положение преподавателя академии, не имевшего никакой ученой степени. И впоследствии, на священническом и потом протоиерейском месте, он не напечатал ничего, кроме одной-двух проповедей. Очевидно Н. М. совсем никакого призвания не имел к учено-литературной деятельности. Вероятно эта ошибка А. В-ча, возлагавшего надежды на И-ва и взявшего его на свою ответственность при оставлении его на кафедре сравнительного богословия, была причиной того, что он так решительно отклонил меня от темы о церкви, не желая повторять неудачный опыт и потом ограничив тему одним Новым Заветом.

Приземистый, с большой круглой безволосой головой и кругло подстриженной бородой, в визитке темно-желтоватого цвета вместо обычного фрака других лекторов, – с необычайно широкими белыми манжетами и большими золотыми запонками, – с толстой золотой цепочкой при часах на жилете. Прибавить надо неуклюжие, претендовавшие, по-видимому, на расторопность, движения и постоянное присловие с, напр.: «католичество-с, по моим крайним убеждениям-с, представляется-с дальнейшим развитием тенденций языческого Рима-с». Все это напоминало прикащика из торговых рядов или пассажей. Нашим курсом или прежними ему дано было прозвище «крайние убеждения», – говорили: «сегодня лекция крайних убеждений, пишу сочинение крайним убеждениям» и под. Особенно ярко вспоминается его фраза на одной из лекций: «Я-с, господа, по моим крайним убеждениям, предан славянофильству, – открыто-с признаю все их воззрения и заявляю-с вам это». Чем объяснить эту выходку? Может быть тем, что А. В. Горский не разделял многих взглядов Хомякова и других славянофилов, даже писал против Хомякова, – и Н. М. Иванцов, становясь в явную оппозицию Горскому, хотел свалить на него свою неспособность по магистерству: разошлись-де в крайних убеждениях. Надо заметить, что в декабре этого года А. В. уже заболел безнадежно и взял потом отпуск.

Может быть тут значило что-нибудь и то, что популярный тогда брат Н. М-ча протоиерей Иванцов-Платонов открыто принадлежал к кружку славянофилов.

Лекции Н. М-ч читал или говорил редко, отчетливо, внятными баском, каждое слово можно было не только слышать, но и записать. Несмотря на то, что в моей памяти не сохранилось ни одной цельной лекции, припоминаются обрывки о восточных церквях, – что-то об их православности и неправославности, буквально по какой-то, позабыл, русской книжке. О католичестве – общее введение по Хомякову, а потом непроходимые дебри схоластических споров об *opus operans* и *opus operatum*. О протестанстве ничего не помню. Язык лекций – периодичный, спротяженно-сложенный, вялый и тягучий. Каждый вопрос растягивался на месяцы, и ввести слушателя в логический ход своих мыслей лектор не умел. Общее впечатление: претенциозность, бездарность и утомительность безцветности.

Достаточно подучив новые языки на первом курсе и в каникулы, я решил на втором курсе заняться специальным изучением какой-либо одной дисциплины. Мысль о церкви и папаше была брошена, когда стала известна его неизлечимая болезнь. Избрал историю философии и Василия Никофоровича Потапова. Из трех сочинений я все время работал серьезно только над одной из его тем: «Философские воззрения Джордано Бруно и влияние их на новую философию».

На другие темы я писал почти экспромптом и прямо набело. По основному богословию Петропавловскому. «Справедливо ли утверждает пантеизм, что личная форма бытия не может принадлежать Богу, как существу абсолютному?» – Писал не более двух дней, чтобы только отделаться формально. К своему удивлению получил отличную отметку и похвалу за способность к глубокому философскому мышлению и еще что-то о высоте метафизического созерцания – в довольно напыщенной рецензии. Сочинение потом, в минуту приват-доцентства трудную, было напечатано мной в «Православном Обозрении» под заглавием: «Личность и абсолютность», с подписью М.

Еще небрежнее отнесся я к сочинению по сравнительному богословию: «Справедливо ли мнение А. С. Хомякова, что протестантское отношение к Библии отзывается фетишизмом?» За буквальную точность не ручаюсь. Так как при объявлении этой темы в аудитории И-в еще раз заявил себя приверженцем Хомякова и славянофилом, то я избрал эту тему, чтобы как можно легче и скорее сбросить сочинение с рук: ведь критиковать не требовалось, а изложить мысли Хомякова было слишком

легко и недолго. После обеда до ужина написал два листа, а Хомякова читал уже ранее, и теперь только подчитал утром до обеда. Изложив в некоей системе мысли Хомякова, я закончил так: «По моему убеждению (хотел прибавить «крайнему», но побоялся) Хомяков безусловно справедлив и оспаривать его невозможно. Ни о каком приличном балле я и не мечтал, подумывал даже о неудовлетворительной отметке и написании другого сочинения. Каково же было мое удивление, когда Н. М-ч через посещавших его по вечерам земляков позвал меня к себе и спросил, доволен ли я буду баллом 4. По-видимому Н. М-ч думал, что я напишу другое и обстоятельное сочинение, на какую-либо другую тему, – и, кажется, он и давал мне понять это. Но, теперь уже к удивлению Н. М-ча, я был чрезвычайно доволен отметкой и благодарил за снисходительность, заявив, что занят работой по истории философии и не хочу от нее отрываться. Впрочем замечу, что при преданной И-м справедливости воззрений Хомякова, я решительно не находил возможным, и теперь не нахожу, написать еще что, кроме систематического изложения мыслей Хомякова об этом предмете его же собственными словами. Балл поставлен не за сочинение, а за тему, на которую ничего более нельзя было написать.

Свой труд и свое внимание я посвятил исключительно изучению воззрений Джордано Бруно. Вопрос поставил широко, расширив тему выяснением связи воззрений Бруно со всей предшествовавшей историей философии. Кроме специальных пособий по философии Бруно – франц. Бартольмесс (Bartholmess) и еще какие-то немецкие – для предшествовавшей философии я читал историю греческой философии Целлера, Владиславлева о Плотине, историю средневековой философии Штокля, специально о Николае Куза (или Кузанском) Клеменса, Шарфа, Циммермана и еще что-то не помню, – по новой истории Куно-Фишера, Кузена и др. Материал набрался обширный. Но у нас на курсе было распространено мнение, что В. Н. Потапов чуть не фанатик краткости поминаний, в стиле своих лекций, – не терпит ничего лишнего, при изложении философских взглядов требует слов самого философа, без своих разглагольствий и пояснений. Наконец, едва ли не сам В. Н. при объявлении темы сказал, чтобы писали не более восьми листов. На выполнении этих требований я и сосредоточил свое внимание, не думая и, вероятно, не будучи способен к какой-либо оригинальности в данном вопросе. Во всяком случае все мое старание было направлено к тому, чтобы не написать ни одной фразы без ссылки на пособие, думая показать этим свою ученость и труд. И... очень ошибся. Оказалось, что В. Н. очень любит и одобряет оригинальность. Этим объясняется, что он, скупой на

баллы, поставил сверх-обычное 5 на сочинении совсем невыдававшемся у нас Лапчинскому и моложе нас двумя курсами, действительному оригиналу и философу, вышеупомянутому Роману Левитскому. Впоследствии однокурсник П-ва П. И. Горский сообщал, что студенческие сочинения В. Н-ча отличались необыкновенной оригинальностью и тонкостью анализа. К сожалению В. Н-ч принадлежал к тем философам, у коих не написанное или умолчанное слово считается золотым и выше всего ценится *ars tacendi* служба искусству молчания, он копил это золото и своими словами и своими писаниями. Поэтому он напечатал, если не ошибаюсь, только две официально-неизбежные свои работы: курсовое сочинение о пророке Данииле и актовую речь о взаимодействии вещей.

Сочинение мое получило отличную отметку 5 и несколько общих похвал за краткость, точность, обстоятельность и т. д. Но по отметке и по общности рецензии видно было, что оно не удовлетворило В. Н-ча. Судя по замечаниям рецензента на полях, он отлично знал и литературу предмета и подлинники. Особенно удивила меня заметка против моего утверждения, что монаду впервые ввел в философию Джордано Бруно: «учение о монадах было и ранее». Что и кого разумел В. Н-ч, доселе не знаю. Впоследствии, будучи сослуживцем и знакомцем В. Н-ча, я мог бы спросить у него разъяснения, но, к сожалению, не сделал этого. Доселе ничего другого не могу придумать, кроме комбинации термина монада с понятием идеи у Платона или монады-души у Филона, или же сближения с пифагорейской монадой. Но это ли разумел В. Н-ч, не знаю. Во всяком случае все это далеко от монадологии Бруно. Это как и другие подобные заметки показывают в В. Н-че глубокого знатока первоисточников истории философии в подлинниках. И это сочинение мое напечатано там же и по тем же побуждениям.

Проповедь мне назначена была на Покров – храмовый академический праздник и день торжественного публичного акта. Назначение почетное. По-видимому, назначавший ждал от меня что-то. Вероятно это был Ф. А. Сергиевский, читавший проповедь первого курса и уже перешедший их академии в Вифанскую семинарию ректором. Но если я уж так пренебрегал сочинениями по основному и сравнительному богословиям, отдавшись истории философии, то проповедью-то и тем более: не до проповеди было. Притом неизвестен был рецензент. Набрал на листе разгонистого письма несколько мыслей о значении духовной науки для общества, в духе Иоанна Смоленского, которым я был увлечен еще с 5-го класса семинарии. Своевременно проповедь не была прочтена и одобрена к произнесению, – читал ее уже в конце года поступивший на место

Сергиевского приват-доцент В. Ф. Кипарисов. Поставлен был балл 5 – без всяких помет и замечаний. Проповедь совсем плохая и такого балла не заслуживавшая, – с большими претензиями, но без всяких достоинств.

Дело писания проповедей вообще поставлено было плохо. За самыми ничтожными исключениями, их беззастенчиво списывали с разных епархиальных ведомостей, а большей частью с рукописных сборников, добывавшихся у сельских и городских батюшек. На первом курсе мой товарищ священник Архангельский владел таким сборником и списал с него проповедь. Перед днем произнесения призывает его проф. свящ. Ф. А. Сергиевский и спрашивает: есть ли поданная проповедь творение самого Архангельского. Чуть ли не священнической совестью начал клясться и ротиться о. А. в принадлежности ему проповеди. Но ведь, закончил сцену Сергиевский, это моя же проповедь, напечатанная в прибавлениях к Творениям Святых Отцов. – Не знал я, куда деваться от стыда, говорил о себе отец Архангельский, сам рассказавший о себе эту историю. При всем том проповедь была признана удовлетворительной и о. Архангельский не писал другую, взамен ее. Отсюда видно, как небрежно относились к проповедям и студенты, и сам профессор.

В конце года явился ревизор – архиеп. Макарий Литовский (Булгаков, известный историк и богослов, потом митрополит Московский). Появление его было весьма торжественное. Этому появлению предшествовало торжественное несение множества каких-то гробиков, как оказалось; футляров с орденами. Потом, в актовом зале, перед всеми студентами, профессорами, инспекторам и ректором предстал и сам ревизор – красавец, ласковый, сияющий и ликом и одеянием, с ореолом славы великого ученого, главного участника в составлении нового академического устава. Теперь и потом, на экзаменах, мое внимание особенно останавливалось на панагии, состоявшей, кажется, из перламутра с изображением Рафаэлевой Мадонны: мне очень навилось это изображение. После профессоров подходили под благословение все студенты, причем назвались их фамилии и родные семинарии. Со многими Макарий вступал в разговор, расспрашивал о семинариях, ректорах, архиереях, – особенное внимание обратил на своих земляков-курян. Я ожидал, что моя фамилия обратит внимание ревизора, но этого не случилось. Помнится, что во время этого представления А. В-ч имел вид уже весьма болезненный, какой-то темный, сурово-серьезный. Говорили, что он не любил Макария и не высоко ценил его историю и догматику, и Макарий это знал. А о введении Макария ходили у нас слухи, что это – лекции его предшественника по академической кафедре – Димитрия

Муретова и что Димитрий говорил о докторском кресте Макария: крест мой, крест мой, а Макария только цепь. Мне бросилось в глаза, что Макарий мало обращал внимание на Горского и не проявлял к нему обычной светской предупредительности.

Присутствие ревизора несколько изменило обычные экзамены в академии.

Экспромты по основному и сравнительному богословиям давались за день. Можно было и подчитать и хорошо обдумать. Получался уже не экспромт, а сочинение, в роде того, какое представил я по основному богословию. Помню, что сочинения вышли не малые, листа по три, обстоятельно исчерпывавшие данные вопросы и казавшиеся мне не худыми. Особенно удачно вышло сочинение по сравнительному богословию, очень понравившееся И-ву и примирившее его со мной. Но, как и первокурсник, я никак не могу припомнить и этих экспромтов – ни данных тем, ни содержания моих ответов.

То же должен сказать и об устных экзаменах второго курса. На них присутствовал Преосв. ревизор. В виду этого даны были записи самих лекторов, каждому студенту назначен отдел, что-то вроде прежних публичных экзаменов. О себе я помню только то, что и мне был назначен какой-то отдел по сравнительному богословию, но преосв. Макарий оставил экзамен до моего ответа. По основному богословию учили лекции Петропавловского, переписанные с его собственноручной тетрадки. Помню только, что от них отдавало неметчиной, плохо переваренной и потому трудно усваившейся. По истории философии учили Шwegлера. Но мне она была более или менее знакома по работе о Дж. Бруно. Все прочее теперь забыто мной навсегда.

Преосв. ревизор держал себя на экзаменах как-то ободрительно, – все хвалил, всем восторгался, – даже скандовкой Virgiliya, хотя она изучалась еще в 3-м классе семинарии. Получалось впечатление, что преосв. Макарий как бы хвалил самого себя.

Потом среди студентов распространился слух, что ревизор похвалил всех наставников, кроме проф. Каноники А. Ф. Лаврова, своей книгой и перепиской с архиереями остановившего проектировавшуюся тогда обер-прокурором Синода Толстым и преосв. Макарием реформу церковного суда. Так это и действительно, в ревизорском отчете, хранящемся в академическом архиве. Слух, очевидно, исходил к студентам от наставников. Отзыв Преосв. Макария – явно пристрастен, личен и неверен: А. Ф. Лавров был глубокий знаток науки и его профессорский авторитет стоял весьма высоко и у профессоров и у студентов и у ученых.

Мое увлечение философией имело своим последствием то, что на 3-й курс я перешел вторым, а первое место занял курянин, земляк Иванцова, ходивший к нему в гости, Платонов. По этому поводу были некоторые инсинуации. Но решительно заявляю, что Иванцов был тут не при чем: я справедливо пожал то, что сеял. Я мог бы сослаться на то, что на тему о Хомяковском обвинении протестантов в фетишизме по отношению к Библии ничего нельзя написать более того, что было написано мной. Но самая тема уже не из таких, чтобы раскрытие ее могло претендовать, по тогдашнему, на высокий балл. Для сего требовалось проявить и ученость и логичность и трудоспособность. Ничего такого в моем ответе не было, да и не могло быть, по существу темы. Я сознательно и добровольно шел на то, последствия чего отлично знал. Единственное, что мог бы сделать И-в, это, по лицеприятию ко мне и следовательно не по правде, несколько увеличил балл. Но ведь это было бы недобросовестное пристрастие к незаслуженному первенству.

Теперь, в старости, пускаюсь в эти рассуждения о своем первенстве. А тогда, в течение всего четырехлетия, я не придавал этому никакого значения.

За отстранением А. В-ча от дел по болезни, я тотчас же после экзаменов обратился за темой для кандидатского сочинения к ахрим. Михаилу. Он мне сказал, что есть у него две темы. Одна – о славянском переводе Нового Завета, но при этом заметил, что эта работа не требует никакой умственности и что подобные работы более свойственны людям усидчивым и в роде того как бы бесталанным, указав в пример на славившееся тогда трудолюбием и уже окончившее курс лицо. «А вам я, продолжал он, предложу написать критический разбор книги Бунзена: Жизнь Иисуса». И тогда для меня был непонятным и теперь остается таковым же отзыв Михаила и о работе над славянским переводом Нового Завета и об указанном им лице, уже умершем. Напротив, я был очень склонен к таким спокойным работам и любил заниматься языкоизучением и всем, с ним связанным. Но явное презрение к теме со стороны Михаила удержало меня от нее. А Бунзена я взял на предварительное ознакомление, не заявив о своем решении взять тему о нем. Скоро, недели через полторы, прочитал книгу и убедился в ничтожности предмета темы и в несоответствии характера работы тогдашнему моему умонастроению. Пошел за темой к В. Д. Кудрявцеву. Но он сначала отказался, сославшись на то, что кандидатские сочинения должны, по уставу, писаться на богословские темы и по предметам богословским, а метафизика и логика предметы светские. Но потом согласился и дал тему: «Спекулятивный

теизм». Каникулами в деревне перечитал Ульрици, Лотце и Фихте младшего, данного мне Кудрявцевым. По возвращении в академию достал и прочитал главные сочинения Баадера. Моя полная спекулятивная неподготовленность, головоломная тарабарщина немецкой спекуляции, искусственно-туманный немецкий философский жаргон, усугубленный мудрованиями русских переводчиков, широта или точнее отсутствие темы... В моей голове получился величайший сумбур: я не знал, что и как писать, – ум уходил за разум, – я мучился в бесплодных усилиях что-то схватить, о чем-то думать, чему-то дать определенность и освещение. Это что-то бесформенное, неуловимое, мутное наконец расстроило мои нервы, лишило сна, аппетита, навело уныло-подавленное настроение. Дело было плохо: я уже чувствовал, что придется бросить тему, после четырехмесячного упорного, но бесплодного, вернее – вредного труда над ловлей ветра в поле. Предстояло читать Гюнтера. Пошел за ним к Кудрявцеву. Не оказалось. При этом К-ч сказал, что нет надобности читать все подлинники. Можно по энциклопедиям и из вторых рук, – по чужим обработкам, что скорее и легче приведет к цели. Я несколько удивился этому, чем, вероятно, подал К-ву повод сказать мне: «Не лучше ли бросить эту тему?!» – Вероятно К-ч заметил мою подавленность, растерянность и неподготовленность и даже неспособность работать над такой темой. Заметка К-ва была как бы эхом моего собственного желания: я с радостью принял этот совет, немедленно освободил себя от тяжеловесных порождений спекулятивного теизма. Фихте возвратил Кудрявцеву, – Ульрици, Лотце и Баадера – в библиотеку, а о Гюнтере не стал и спрашивать. Как бы проснувшись от продолжительного кошмара, я почувствовал на душе ясный весенний день. Брошена четырехмесячная упорная и тяжелая работа. Но худа не было без добра. Я постиг три истины, убедиться в коих для меня и для всякого чем раньше, тем лучше. Во 1-х, я опытно познал свою полнейшую негодность к тому делу, что считал своим призванием, – совершенную неспособность к спекулятивному мышлению, вопреки открытию ее Петропавловским в моем наброске. Во 2-х, я почувствовал, и, думается, справедливо, полное отвращение к нездоровой, может быть паталогической, и, во всяком случае, схоластическо-искусственной туманности немецкой философской спекуляции. В 3-х, я убедился в том, что вся эта неметчина есть *мудренность*, а не *мудрость*, – мудрование, схоластика и резонерство, а не разум, правда и премудрость, – и что если снять с нее всю эту мудровательно-немецкую шелуху, она окажется не выше древне-греческой философии, – а о христианской уже не говорю, – только замудрением

мудрого и затемнением ясного. Стал тогда понятен мне смысл изречения: для мудреца довольно простоты.

Итак, во второй половине сентября я оказался без темы. Уже стал было подумывать о переделке в кандидатское своего семестряка по патристике о Философументах. Но тут у меня блеснула мысль о Филоне, с которым я познакомился в прошлый год при работе над философией Дж. Бруно. Бегу к Потапову. Тот, как и Кудрявцев, но решительно отказывается читать кандидатское, хотя и одобряет мое намерение и дает мне Целлера, Дэне, Гейнце и еще что-то, а главное – фолиант Пражского издания творений Филона. Я был спасен и почувствовал себя на твердой почве, не заботясь о читателе рецензенте. Я и другие тогдашние студенты были уверены в том, что кандидатские как и магистерские и докторские сочинения можно каждому писать на свою собственную тему, а о рецензии должен заботиться уже сам совет отделения. И если бы, сверх моего ожидания, Совет не признал моей работы богословской, я надеялся получить степень за подачу в расширенном виде моего семестряка о Философументах. Впрочем, архим. Михаил, нисколько не обидясь на мой отказ от Бунзена, охотно взялся прочитать мою работу, как имеющую отношение к евангелию Иоанна и при условии сравнения Филоновой и Иоанновой логологий. После этого я спокойно и с радостью погружаюсь в изучение Филона по первоисточнику и пособиям.

Но тут случилось событие, всколыхнувшее спокойную и однообразную жизнь академии: смерть Папаши. Ее давно ждали и особенного внутреннего переполоха она не произвела. Но похороны, с выносом тела, панихидами, чтением евангелия, речами и словами, прибытие новых лиц: все это на время изменило обычный ход академической жизни. Подробнее об этом скажу, когда буду вспоминать домашнюю или номерную жизнь свою в академии. Теперь же продолжу учено-учебную сторону.

На втором курсе образ Папаши был вытеснен у меня философом Дж. Бруно. Пособия Потапова были так обильны и полны, что я не имел потребности обращаться к Папаше. Да едва ли он и мог, при своей болезни, заниматься студентами. Помню только его вид при представлении ревизору. А теперь, на третьем курсе, мной всецело владели – сначала теизм, а потом Филон. Для Папаши как бы не оставалось места, и я не думал о нем и не видал его. Поэтому смерть Папаши не произвела на меня особого впечатления и я продолжал возиться в Филоном.

Но вот перед 40-м днем по кончине Папаши инспектор С. К. Смирнов

обращается ко мне с предложением приготовить проповедь. Это было для меня совсем неожиданно и отрывало от Филона. Притом многочисленные ораторы уже прекрасно извистывали все возможное о покойнике. Особенно прекрасно было слово архим. Михаила на погребении, а еще прекраснее пр.-доц. Н. И. Лебедева (о любви, как основной черте покойного) – кажется в 20-й день. Что я мог сказать? – Наконец, я имел и формальное основание отказать от проповеди, ибо перваком богословского отделения был не я, а Платонов, да и были и еще два первака на других отделениях. Присоединил сюда еще и то, что я переменял тему и времени не имею, – и что 40-й день по кончине Горского совпадает с днем смерти митроп. Филарета, о коем я ничего не знаю. Но все доводы были напрасны. Инспектор настойчиво, даже повелительно, требовал от меня проповеди. Дело улаживается так, что в случае неуспешности моего рассуждения к сроку С. К. будет ходатайствовать об отсрочке, что мне было очень на руку, – а о Филарете он дал мне какую-то брошюру. И как я теперь благодарен С. К-чу, что он чуть не силком привлек и меня к святому делу церковного почтения Великого Старца. С какой радостью вспоминаю теперь об этой моей, хотя ничтожной, дани Папаше.

Сравнение с Илией и Елисеем напрашивалось само собой. Я не знал, сколько помнится, тогда, что Илией и Елисеем начинал свою беседу студ. 4 к. И. Соколов, в 9-й день по кончине Горского. Но тема и текст были совсем другие. У меня с Илией и Елисеем сравниваются Филарет и Горский, а Соколов сравнивает Горского с Илией, а себя и учеников Горского с учениками Илиии вообще и с Елисеем в частности.

Взял текст 4цар. 2, 15: *Почи дух Илиин на Елиссеи*. Кратко указав в приступе, что дух Илиии, почивший на Елисее, есть тот же дух, что обвевал и учителя Филарета и его ученика – Горского, я потом подробнее раскрыл проявление этого духа в глубоком убеждении в истине, в пламенной ревности по вере, в благодатно-сильном слове учительском (пророческом), в подвижничестве и высокой нравственной чистоте. В заключении, отказываясь от сравнительной оценки обоих великих учителей, привожу 1Кор. 3, 5–8: Павел ли, Аполлос ли, оба ничто, но только служители Бога: Павел насаждает, Аполлос поливает, – а возвращает Бог. В конце молитва, чтобы Бог даровал академии достойного носителя духа А. В-ча, разумея и ректуру и профессуру и науку и вообще всю личность Горского!

Слово о строгом стиле самого Филарета, – обдуманное рассуждение на тему, соответствующую церковному торжеству и библейскому тексту. Она мне тогда очень не понравилась, – без ораторства, возбужденности, –

спокойный и холодный доклад на данную тему. Были лишь небольшие отступления в сторону лирического излияния моих личных чувств по отношению к Папаше. Эти отступления и обращения к Папаше мне тогда очень нравились. К лучшим местам проповеди принадлежат выписки из слов самого Папаша в день 50-летия академии и при погребении Филарета.

Кафедра гомиластики не была замещена, временно рецензовал проповеди А. Ф. Лавров. Накануне произнесения утром иду к нему за тетрадкой. Он мне ее не показал, а в запечатанном конверте велел передать В. Д. Кудрявцеву, исправлявшему должность ректора. Помню, что на большем, в четверку, конверте было весьма крупно, толсто и черно написано: Его Превосходительству. В. Д-ч не имел еще тогда такого чина. Мне показалось, что он поморщился при виде этого величания. Надо заметить, что к А. Ф-чу, как узнал я потом, относились с какой-то подозрительностью в его искренности и не все долюбивали его. Возможно, что В. Д-ч принял надпись с подозрением или в лести или в насмешке, хотя сам А. Ф-ч мог выразить здесь только формализм канониста, ибо В. Д. был за ректора. Из этого я делаю вывод, что В. Д. не особенно интересовался тогда титулами, – а впоследствии я убедился в этом: он не любил, чтобы молодые профессора величали его превосходительством и косвенно запрещал это.

Распечатывает конверт, вынимает тетрадь и... Боже мой!... толстым, должно быть гусиным, пером и черными жирными чернилами – черты горизонтальные, перпендикулярные, кресты, вставки... по всей тетради. Я ужасно смутился, вернее – чуть не сбесился. И отдай мне на руки мою тетрадку А. Ф-ч, я наверное отказался бы от произнесения проповеди. Но В. Д-ч, рассматривая пометки и вставки, сильно морщился, издавал какие-то неодобрительные звуки, потом сказал: «Что это такое? Зачем?» Особенно возмутился В. Д-ч тем, что А. Ф-ч поставил крест на моем заключении, где речь о Павле, Аполлосе, Боге и достойнейшем преемнике А. В. Горского. Вероятно А. Ф-ч усмотрел тут с одной стороны как бы умаление Филарета и Горского, а с другой – бестактность по отношению к преемникам Горского – ректора и профессора как ни в коем случае не могшим быть его достойными, а тем более *достойнейшими*. К сожалению это слово осталось в печатной проповеди, хотя я отнюдь не разумел и разумею не мог сравнительной степени по отношению к А. В-чу, а разумел его преемников и достойнейшего из кандидатов на его преемство. Теперь очень тужу, что я тогда не исправил двусмыслия, – да, кажется, и не заметил тогда, ибо над окончанием проповеди стоял общий крест, и

слово это ни подчеркнуто, ни зачеркнуто отдельно не было. Может быть это даже опечатка, каковых не мало, напр.: Илии вм. Ильин, – после «божественному» – слова Николовула – пропущено «Духу», вместо «постепенно» напечатано «торжественно», вм. «приму» напеч. «кoемy», – «вызвала» вм. «вызывала», – «суждениях» вм. «суждения», – «попечений» вм. «забот», – «совершенства» вм. «совершенств». Да и вообще мне ужасно не везло всегда с опечатками. Лирика и все излияния чувств тоже, понятно, были жирно замараны.

Я было хотел уже отказываться от произнесения проповеди. Но В. Д-ч с усмешкой сказал мне: «Вот что: не обращайтесь внимания на поправки, произносите все».

Я так и сделал. Приписки, кроме слов «приснопамятный отец наш» вместо моих: «дражайший папаша, возлюбленный отец» и под., – не говорил, зачеркнутое произнес, кроме лирических отступлений, – их, кажется, и В. Д. не советовал произносить.

Вечером издатель Православного Обозрения попросил у меня проповедь для напечатания. Я не хотел давать ему испачканную тетрадку и переписал, опустив все Лавровское и восстановив свое, кроме лирики. Она и мне показалась тогда наивной и мало уместной. Жалею, что оригинал погиб с другими тетрадками в пожаре.

Надо заметить, что и сам А. Ф. Лавров говорил слово в полугодие по кончине А. В-ча, – что-то о столпе, спротяженно сложное и столпообразное, что своей фигурой напоминал и сам А. Ф-ч. Стоявший рядом со мной студент 4-го курса, писавший кандидатское сочинение А. Ф-чу, Мемнонов, при появлении Лаврова и первых словах его весьма слышно произнес: «столп злобы», потом присел (был высокого роста) и еще что-то сказал. Это меня очень рассеяло, проповеди я не слушал внимательно, но, во всяком случае, она ничем не выделялась, кроме длинноты, сухости и общности содержания. Она напечатана, кажется, в Православном Обозрении.

Сорок дней по смерти А. В-ча были проведены мной не вполне сосредоточенно. Очередные по номерам заупокойные службы о папаше, приезды архиереев, торжественные богослужения в 9-й, 20-й и 40-й дни, проповедь: все это отвлекало от работы. Но после 40-го дня я уже всецело отдался Филону.

И тут не обошлось без содействия А. В-ча. При разборе его библиотеки оказалась целая полочка с книгами, относящимися к Филону: Пфейфферово издание сочинений Филона, Тишендорфские дополнения, работы Гроссмана, Грёрера, Кеферштейна и др. Целая библиотечка

подобранных книг на мою тему. Видно, что А. В-ч сам очень интересовался вопросом. Это послужило для меня добрым предзнаменованием, – я увидел в этом как бы посмертное благословение моей работы Папашей, наверное одобрявшим бы ее и при жизни.

Мало этого. Он оказал мне существенную помощь. Дело в том, что библиотека находилась в ужасно худом положении. Коридорообразное здание на столбах, с проходными и проездными между ними пролетами, – без печей (теперешняя столовая). Библиотекаря, его помощнику и студентам надо было иметь зимнее уличное одеяние. Общедоступного каталога не было для пользования студентов. Помощник библиотекаря не знал библиотеки и нервничал при бесплодных поисках книг в лабиринте шкапов и полок, бывших не в особенном порядке. А библиотекарь К. И. Богоявленский, хотя и достаточно был знаком с расположением и содержанием библиотеки, но, страдая национально-русским недугом, являлся в нее редко. Притом он был семинарист, не знавший или плохо знавший иностранные языки. Добывать книги вообще было трудно и неприятно.

Прибегали даже к смазке. Несколько студентов, большей частью целым номером, делали складчину на коньяк, икру, колбасу и сыр и угощали библиотекаря. Он становился милостивее и иногда уже сам приносил книги, справляясь по своему каталогу. Особенно русские книги и рукописи, последних он был хорошим знатоком.

Понятно, каким благодеянием для меня была полка А. В-ча с Филоном, с какой искренней и радостной благодарностью я поминал тогда и поминаю теперь его имя.

Об оставшихся после А. В-ча в большом количестве книгах, отказанных им в библиотеку академическую, надо сказать следующее. Все более важные заграничные новинки по академическим дисциплинам московский магазин Дейбнера, по собственному почину и по указаниям профессоров, высылал на просмотр в академию, и прежде всего ректору. Наиболее капитальные и нужные ему вещи он оставлял у себя за свой и казенный счет, а другие отсылал в профессорскую комнату, где каждый профессор оставлял на свою кафедру то, что ему требовалось, сообщая об этом в Совет для уплаты. Таким путем у А. В-ча скопилась огромная библиотека наиболее ценных и капитальных изданий. Кроме того, как бывший библиотекарь, он отлично знал библиотеку. Наконец, как профессор церковной истории, а потом догматики, и как ученый описатель Московской Патриаршей (Синодальной) библиотеки, он держал у себя на квартире едва ли не все первоисточники и капитальные труды по

всем главнейшим академическим дисциплинам, – особенно в виду беспорядочности библиотеки, ее сырости весной, летом и осенью, и холода зимой. Отсюда понятно, почему без содействия Папаши не могли обходиться не только серьезно работавшие студенты, но и едва ли хотя один профессор и преподаватель. У него могли оказываться нужные книги и по психологии и по философии и по эстетике, а о церковно-богословских дисциплинах нечего и говорить.

Весь остальной год прошел в усиленных и сосредоточенных работах над Филоном, за чтением его сочинений, изучением литературы о нем, пособий по греческой философии и иудейскому богословию, в исследовании ветхозаветной идеи Логоса и учения Иоанна Богослова о Логосе. Лекции я посещал мало, вернее почти не посещал, кроме греческого языка – читал инспектор С. К. Смирнов, – и Св. Писания Нового Завета – читал Михаил, коему я писал кандидатское и который вскоре стал преемником Горского по ректуре. Впрочем, и независимо от инспекторства С. К-ча, греческий язык я любил, и с большим любопытством слушал лекции по языку новозаветному, святоотеческому, церковно-богослужебному, – и с особенным удовольствием занимался языком новогреческим. Тогда же я решил избрать греческий язык своей специальностью на 4-м курсе. Для экзамена я готовил группу билетов и перевод по новогреческому языку.

А Михаил интересные лекции по общеобязательному предмету Св. Писания Нового Завета.

Внушительного вида и высокого роста, в монашеской широкой рясе и высоком клобуке, с представительной наружностью, большими серыми глазами и окладистой бородой светлого цвета, похожего на проседь, – произношение торжественное, отчетливое и редкое, каким-то глухим приятного старческого тембра голосом, с дрожанием, как бы в виде иззамогильного вещания, – движения неторопливые, медленно-размеренные, – наконец самые лекции с простым и интересным содержанием (они изданы Н. И. Троицким, магистром академии, писавшим диссертацию Михаилу). Все в нем было величественно, как бы монументально, внушительно, торжественно, успокоительно и приятно.

Обычно являлся он на 30–35 минут. Его четыре лекции были распределены по две подряд: два последние часа (12 и 1) в среду и два первые (9 и 10) в четверг. По прочтении молитвы Михаил медленно и торжественно взбирался на громоздкую кафедру, – эта медлительность, кажется, была следствием ревматизма в ногах, которым он болел незадолго перед этим годом. Медленно снимал клобук, укладывал концы

его в камилавку и ставил у пюпитра. Потом вынимался белый носовой платок и протиралось пенсне, иногда происходило громогласное сморкание. Пенсне, кажется, было новинкой для лектора, он не умел еще обращаться с ним, – оно часто соскакивало с его носа и падало на кафедру. Совершалось медленное поднятие пенсне и новое насаживание на нос. После всей этой, довольно продолжительной процедуры, начиналось чтение лекции по тетрадке, – внушительное, редкое, отчетливое. Каждая лекция неизменно начиналась такой формулой: «В прошлый раз или на предшествующей лекции или лекциях мы начинали говорить о возможности искушений Безгрешного Господа, перешли к возражению Гофмана, изложили ответ Ульмана, заметили то и то, разъяснили это, показали еще нечто, остановились на следующем и теперь продолжаем. При медлительном произношении уходило на это предисловие не мало минут. Остальные минут 20–25 диктовалась лекция, медленным темпом, с некоторым ораторским подъемом и торжественностью, вроде церковного слова или публичной актовой речи. Так на несколько недель растягивались чтения об искушении Христа, – изложение полемики Гофмана и Ульмана о возможности и действительности искушения для Безгрешного Сына Божия. Одна неделя излагает, что искушения были невозможны и недействительны, на следующей неделе они возможны и действительны, на дальнейшей один опять доказывает, что невозможны и недействительны, а потом другой утверждает обратное. Так несколько недель умело интриговал лектор наше внимание, со своими медленными восхождениями на кафедру, занятиями с клобуком и пенсне и длинными повторениями всего прежде сказанного (чем более вперед продвигались чтения, тем длиннее становились эти повторения). Курс лекций открывался историей толкования Библии, преимущественно Нового Завета, если не ошибаюсь, по немецкой обработке истории Нового Завета или новозаветных писаний Эдуарда Рейсса, по главе: «История экзегеса Нового Завета» (лекции эти изданы Н. И. Троицким). Но со своей обработкой стилистической и такими, например, фразами: «Но из-за широких плеч Лютера уже выглядывала насмешливая физиономия Штраусса». Эта наглядная фраза мне очень понравилась и потому я ее запомнил. Слушалось легко и с интересом. Уже не столь интересны были чтения о евангелиях и евангельской истории (по докторской диссертации) с чтением и разбором книги Ренана «Жизнь Иисуса». Критики собственно не было, а слышались только замечания: «Когда я это прочитал, я отшвырнул от себя книгу, – это не наука, издевательство и т. д. в том же роде». Менее интересны были краткие толкования евангельских событий –

рождение Господа, поклонение волхвов и др. и бесед Господа: с Никодимом, самарянкой и о хлебе живом (напечатано в Душеп. Чтении). Совсем уже неинтересны, да и не особенно ясны и содержательны были лекции об Ап. Павле, его обращении, опровержении визионерной гипотезы, особенно краткий истолковательный анализ послания к Галатам.

В одно из моих посещений Михаила он спросил меня: «отчего это студенты слушали меня внимательно, когда читал я историю толкования Библии и об искушениях Христа, а когда стал читать об Ап. Павле и толкование послания Галатам, они зевают и плохо слушают?» Я не знал, что ответить на это.

В отчете Михаила за 1875–1876 год показано еще: учение о богодухновенности Библии, подробный обзор и толкование посланий к Римлянам, первого к Коринфянам и к Евреям. Но я этого совсем не припоминаю, как и из событий евангельских и речей Господа припоминаю только вышеуказанные, хотя я и неопустительно посещал лекции. Запоминание конечно вполне возможно.

На каждой лекции слышалась фраза: «И так далее и так далее, и тому подобное, все в том же роде». Невольно казалось, что лектор нарочно растягивает лекцию многословием, чтобы меньше прочитать.

Очевидно за такие фразы, манеру растягивания лекции многословием, длинные предуготовления на кафедре и продолжительные повторения прежних лекций студенты старших нашего курсов прозвали Михаила «водолеем».

Прозвище это однако же несколько не свидетельствовало о том, что Михаил был плохой профессор. Напротив, для богословия он представлял выдающегося профессора. Благодаря Михайловской манере чтения, лекции по Св. Писанию Нового Завета слушались с большим интересом и запоминались легко. Вероятно, это был преднамеренный педагогический прием, так как в печатных трудах Михаила нет никаких повторений и ни малейшего водoleyства: стиль в них изящно-простой и отчетливый.

Несправедливо и глумление над малоученостью Михаила, под влиянием критики П. И. Горского, выразившееся в упоминаемой архиеп. Николаем выходке студенческой в беседке. Конечно он не был таким языковедом, как П. И. Горский, а с А. В-ем нечего и сравнивать обоих, но умственный и научный горизонт его были несравненно шире, чем у П. И-ча. Михаил был не только много талантливее П. И-ча, но, что главное, гораздо трудоспособнее и плодотворнее. Своими статьями, диссертацией докторской, изданными лекциями и толковым Евангелием и апостолом

Михаил составил себе популярное имя в русской богословской науке. А П. И. Горский умер без имени, почти никому неизвестным, даже без докторской степени. У П. И-ча в то время не было ни одного ученика-магистра, да и потом их было, кажется, только двоица (и один неудачник – Никольский, диссертацию о надписаниях псалмов списавший с Вишнякова). А у Михаила была уже целая школа магистров. Те ошибки и недосмотры, что указаны в рецензии П. И-ча, суть мелкие и частные недостатки, не бывающие только у бездельников. Притом они преувеличены, сгущены и требуют проверки. По крайней мере заметка о криле храма, по моей проверке, не столь безапелляционна, как выдает ее П. И-ч. Вообще говоря, недостатки Михаила были слишком преувеличены и раздуты П. И-чем, чему отчасти содействовала и патрийность профессоров из-за П. С. Казанского. П. И-ч и Михаил оказались в противоположных лагерях и сопатрийники П. И-ча были все и недоброжелателями Михаила. А партия П. И-ча была (исключая А. В. Горского) более демократична и более популярна у студентов, чем партия Михайловская, более далекая от студенчества. Между другими приятелями П. И-ча, припоминаю, Н. А. Елеонский рассказывал, что «Начнешь, бывало, с интересом слушать лекцию Михаила, а потом унесешься в далекие мечты, даже о совсем не религиозно-богословских предметах». Но это – вина и характеристика не лектора, а слушателя. Напротив, аудитория Михаила всегда была переполнена студентами и слушали его с большим интересом и вниманием. В этом отношении он представлял полнейшую противоположность самому Елеонскому. Наконец, вышеупомянутую грубо-нелепую выходку студенческую можно объяснить доносившимся еще до студентов старшего курса отголоском незадолго перед тем бывших студенческими волнениями в инспекторство Михаила и из-за его сочинения. Но наш курс уже не интересовался об этих волнениях и об инспекторстве Михаила. Прозвище Михаила «раввин равва» у нас не привилось. А название «водолей» употреблялось как бы отвлеченно и теоретично, без конкретного применения именно к Михаилу. Напротив, наш курс любил Михаила и уважал, назвал его ласкательными: «Мишель, Миша, Мишук».

Помню, как после конференции Михаил выбежал в сад разгоряченный, с кlobуком в руках. Встретив в саду меня и еще кого-то, он, запыхаясь, сказал: «Скажите таким-то, что я их отстоял». Это были кандидаты Михаила, и о них, очевидно, были споры и возражения со стороны недругов Михаила.

Случай этот являет деятельную благожелательность Михаила по

отношению к его ученикам, и вообще к студентам.

Нужно отметить еще необычайно деликатное отношение Михаила к самостоятельности в работах его учеников. Он ни в чем не стеснял: ни в языке, ни в плане, ни во взглядах. А это важно для работы кандидатских, ограниченных малым сроком. Пиши я Потапову, наверное треть дорогого времени пошла бы на заботы о доведении сочинения до катехизической краткости. Пиши я Кудрявцеву, пришлось бы долго возиться над планом, внешней соразмерностью частей, глав, параграфов, – их схоластически-логическим построением и пр. Михаил ничего не требовал, со всем соглашался, все предоставлял самому писателю. Благодаря этому, у меня не пропало ни одного дня для изучения предмета на бесплодную формалистику.

Наконец, у Михаила был чрезвычайно ясный и определенный взгляд на русскую тогдашнюю библиологию. Возможно полное изучение иностранных пособий и переработка их в православном духе на русском языке: такова Михайловская задача ученых работ его самого и его учеников. «Пересаживайте, пересаживайте западную науку – католическую и протестантскую – на почву русского православия», говорил он нам официально при открытии практических занятий наших на 4-м курсе, – и часто и многим избавлял у себя на дому, в частных беседах. Этот принцип избавлял его учеников от непосильных и широких задач молодости, почти всегда бесплодной траты времени в поисках чего-то необычайного и нового, – это вело его писателей прямо к цели и дало русской богословской литературе немало дельных работ. С особенной благодарностью историк академии должен отметить совсем необычное тогда привлечение студентов к коллективной работе научной – к переводу Введения в Новый Завет Герикэ, изданному под редакцией Михаила. Это веяло уже новым и живым духом.

Бывал я у Михаила по делу своего кандидатского редко, – раза два, не более: незачем было, ибо все источники и первоисточник находились у меня в руках. Помню, однажды я старался выяснить Михаилу невозможную задачу Филоновой философии, соединить две несоединимые точки зрения – греко-пантеистическую и иудейско-деистическую, и мне не удавалось выразить это коротко и ясно, – он, послушав меня и указав на два пустые кресла, сказал: значит он хотел сесть между двух кресел, чем наглядно и кратко выразил то, что хотел высказать я многословно и в длинных подробностях.

Как профессор и потом как ректор он был необыкновенно внимателен, приветлив и снисходителен. Мой номер находился на 3-м и 4-

м курсах под его квартирой-ректорской. Вначале месяца нам выдавались по 3 р. на чай, сахар и булку. Часть шла обычно на веселье. После ужина пели, иные надрывая животы, старались кричать благим матом. Однажды Михаил, раздраженный оранием и топотом студентов, заметил: «И что это у вас за козлогласие и горлодрание. Особенно один кто-то: винтом-винтом так и завинчивает, всю душеньку вымотает. Ну можно попеть после ужина, но не так свирепо. Можно и повеселиться сообща, хорошенько встряхнуться, освежиться. Но не более раза в месяц. А то уж будет не выпивка, а пьянство».

Еще один раз вечером, сидя за несколькими свечами с зеленым абажуром и в очках, он стал плакаться на свое слабеющее зрение, препятствовавшее усиленно работать над приготовлением толкового апостола. «Глазки мои, глазки, говорил, светы мои очи! Берегите глаза в молодости. Не тратьте их зря, как делал я! Следите за ними вовремя!» Не знаю, сохранил ли Михаил хорошее зрение до смерти или нет, так как после Академии я никогда его не видал.

Михаил был превосходным оратором церковным. Его слово на погребение А. В. Горского веет поэзией и вдохновением святоотеческой старины: и содержанием слова и произношением и своим видом Михаил вызывал образ Святого Отца. Многие в храме, в том числе и я сам оратор, не могли сдержать слез. Впечатление было огромное. Никогда, ни ранее ни после, свидетелем ничего подобного мне быть не пришлось. Только на проповеди Михаила я опытно постиг силу человеческого убежденного ораторского слова. А я слышал и Амвросия, и Никанора, и Плевако, и Урусова. Превосходное и увлекательное, образцово-ораторское слово произнесено было еще в праздник академического пятидесятилетия.

Вообще Михаил был весьма талантливый церковный оратор и выдающийся профессор, особенно на нашем богословском отделении.

Был среди нас распространен слух, что при окончании академического курса он ходил в Вафанию с товарищами и там упился до положения на месте питья. В таком положении его увидал П. С. Казанский и велел доставить в Академию. По другому сказанию Михаил совершил в нетрезвом виде кощунственный въезд в Лавру, кажется, на корове. В обоих сказаниях выступает П. С. Казанский как виновник монашества Михайлова – в покаяние за содеянное. Предложил будто бы в Совете для Михаила или монашество или лишение степени академической. Михаил избрал первое, но с затаенной злобой к К-му. Этим объясняли и выступление Михаила против профессуры и докторства К-го, хотя это было вопреки желанию глубоко им уважавшегося А. В-ча.

К экзамену он представлял огромную по виду программу в 100 или более билетов. Но страшна была только видимость. Билеты коротенькие, простые, в одну-две мысли, на полулисте разгонистого письма. Например помню такой билет: «Искушение Христа. Постановка вопроса о возможности – невозможности искушения для безгрешного Спасителя». Уже самое заглавие билета обычно исчерпывало все содержание ответа. Требовалось только сказать несколько слов, остальное дополнял сам Михаил. А для внимательных слушателей Михаила ответы были еще легче.

Передавались рассказы о некоторых курьезах. Когда еще до реформы Михаил читал и Ветхий и Новый Заветы. А. В-ч Горский бывал председателем на его экзаменах, являлся с огромными фолиантами полиглоты Вальтона и предлагал справки по разным текстам. Текстов обычно никто читать не мог, ни Михаил, ни ассистент, ни тем паче студенты. Полиглота втуне и сиротливо возлежала на столе во время экзамена, стесняя экзаменаторов.

Довольно известный Лютостанский, перешедший из католического ксендза в православные иеромонахи, потом снявший монашество и священство, студент 28-го курса (1868–1872), получил билет о книге Песнь Песней. Когда очередь дошла до него, он не знал, что отвечать. Долго мялся. Михаил, по обычаю, выступает на выручку. «Ну что же, отче Ипполите, вы поведаете нам о книге Песнь Песней?» – М-м, да это... это... тут аллегория! отвечает Лютостанский. – «А скажите нам, что же это за аллегория?» – Аллегория... гм... жених любит невесту и ухаживает за ней, – отвечает Л. – «Ну, говорит Михаил, это еще невелика аллегория!» – Да это малая аллегория, смущенно заявляет экзаменат. После этого прозвали Лютостанского малой аллегорией. Впрочем, за верность не ручаюсь и за точность передачи: может быть что-то и перепутал.

Когда Михаил с ассистентами пришел к нам на экзамен и все заняли свои места, он вынул большую пачку билетов (сто или даже более) и стал их тасовать как карты, сказав при этом: «Вот так студенты тасуют карты». Он был тогда ректором, – а мои товарищи и старшие студенты любили преферанс, ералаш и даже стуколку.

Билет о звезде волхвов составлен был довольно спутано: не то естественное было явление, не то сверхъестественное, трудно понять. Звезда как будто понималась как явление естественное, а нахождение Божественного Младенца волхвами было делом сверхъестественного откровения. Ассистентствовавший на практическом отделении И. Д. Мансветов, литургист-археолог, возражает: «А я древних иконах видел

звезду, изображенную вверху над Младенцем и пещерой, и лучи ее падают прямо на Младенца?» – Михаил отклоняет возражение замечанием: «Ну это еще не диво, а вот я видел икону, где звезда стоит ниже голов волхвов». Таким образом, одно неуместное возражение отражено другим столь же неуместным. Вообще Михаил отличался остроумием в старинном академическом стиле.

Из других лекторов 3-го курса о П. П. Горском, преподававшем библейскую археологию, – и Н. А. Елеонском, продолжавшем свой курс (кажется, о книгах учительских и пророческих) – я уже сказал прежде.

Но был у нас еще один профессор П. И. Казанский, читавший две дисциплины: одну общеобязательную – педагогику – и другую специально-богословскую – нравственное богословие. О содержании лекции по той и другой дисциплине, как и всех почти других дисциплин, я ровно ничего не помню. Припоминается только внешний вид лектора – солидный, основательный, с необычайной, как казалось, большой и безвласой головой. Лекции читались медленно, отчетливо и основательно, но они были очень тяжелы, плохо усваивались и пахли тоже немецким жаргоном. Какое происхождение имели экзаменские билеты – не знаю. Припоминается конец одного билета по педагогике, кажется об американской системе обучения и воспитания, именно такой: «А затем перенесемся на берега реки Ориноко». Принадлежала ли эта фраза действительному билету, или же ее приписал какой-нибудь студент шутки ради, – решить я этого не мог. И это очень характерно для билетов по педагогике.

По нравственному богословию учили что-то общее, мудрено-философичным немецким жаргоном написанное, без всяких библейских и святоотеческих цитат, должно быть по общей этике. В отчете по педагогике значится: «Преподана система общей педагогики». А по нравственному богословию: «После критического обозрения нравственных систем, прочитал введение в православное нравственное богословие, раскрыл учение об истинах, служащих исходными пунктами христианского нравственного богословия и изложил учение о высочайшем благе и добродетели». Яснее помнится мне один экзаменский билет: о нравственном законе. Должно быть я отвечал его на экзамене. Содержание мало понятное, замудренное, спротяженно-сложенное, – непереваренная неметчина. Происхождения этого и всех вообще билетов по нравственному богословию не знаю. Некоторые у нас держались мнения, что П. И-чу надо отвечать как можно быстрее, чтобы он не успел заметить несомой студентом галиматьи от своего чрева. Многим, кажется,

удавалось это. Но я делать этого не умел, а вместо того пользовался кратким конспектом, который я составлял для себя и подчитывал перед экзаменом.

Догматика, за болезнью и смертью А. В. Горского, не читалась ни на 3-м ни на 4-м курсе, никаких экзаменов и практических занятий по этой дисциплине не было и отметки по ней в наших аттестатах нет.

Экзамены по сравнительному, основному и нравственному богословиям были для меня самыми трудными. И это для меня, признанного семинарскими преподавателями, папашей, и в собственном мнении более всего годным для богословского отделения! *Nominum est errare!* Опять выражаю горькое сожаление, что я не перешел на историческое или практическое отделение. Экспромпты в этом году (1876) были уничтожены навсегда.

К сроку кандидатской диссертации не приготовил. Дали отсрочку до августа. Все каникулы упорно работал. Написал огромное сочинение из трех обширных частей. Первая часть из глав: «Учение о Логосе в греческой философии, Мемра иудейской теософии, александрийцы – предшественники Филона» и особое приложение – идея Логоса в Ветхом Завете. Вторая часть: учение Филона о Логосе, как имманентно-безличном откровении Сущего или Божества (пантеистическое), – учение его о Логосе, как трансцендентно-личном откровении Божества (деистическое), – Логос как средняя между Богом и человеком природа (богочеловек), и Логос как первосвященник мира (спаситель). Часть третья: Логология Филона по сравнению с Иоанново-Христианским учением с точек зрения филоновского Логоса как имманентно-безличного Божества, как тварно-личного посредника, как средней богочеловеческой природы и как первосвященника – спасителя мира.

Эта третья часть была самой уязвимой в моей диссертации – с формально-логической стороны. В ней повторялось то же, что говорилось и во второй, на основании материалов последней, только без подробных и длинных выдержек и под углом христианского вероучения. И приставлена она была мной, в виде отдельной части, единственно для того, чтобы и выдержать объективность построения филоновой логологии и придать диссертации богословский характер. А этого богословия от кандидатской диссертации требовали и устав и Михаил. Много бы бесплодных и мучительных дней доставила эта формальность, если бы я писал сочинение В. Д. Кудрявцеву. Но Михаил, когда я высказал ему это затруднение свое, отнесся к нему равнодушно, даже похвалил мой план: «И прекрасно, и отлично, и милое дело, коли иначе нельзя, и пишите

смело и уверенно, – так и надо» и пр. в том же роде. Точно также, когда я сказал Михаилу, что у меня очень много выдержек из Филона, он повторил: «И прекрасно и тем оно лучше, только нужен везде перевод».

Только уже спустя долгое время потом мне пришлось вполне постигнуть, как умело относился Михаил к авторству своих учеников и как благотворно было отсутствие у него всякой бесплодной формалистики. Когда я надумал печатать свою работу в Прибавлениях к творениям св. отцов, я понес ее к В. Д. Кудрявцеву, и как будущему читателю моей диссертации и как к одному из редакторов академического журнала. При виде обширных выдержек из Филона и на русском и на греческом языках, он сильно поморщился и сказал: «Для журнала обременительно, а для диссертации и не благовидно – маленькая голова на огромном туловище, – и бесполезно – каждый читатель, если захочет, сам прочтет по подлиннику». «А если, говорю, он не знает греческого языка?» – «Таким незачем и читать вашей диссертации, а если и прочтут, то не пожелают проверки, – разве охотники проверяют, как делают на заводах сталь ружья?» – Образ толстопузатого ваньки-встаньки явился у меня так ярко, что я без всяких рассуждений поддался совету. Но это стоило мне больших хлопот. Пришлось над каждой выдержкой обдумывать: привести ли ее глухо, или дословно, или сокращенно, или в перифразе, по-гречески или по-русски или и так и сяк, в тексте или под чертой. Работа, конечно, сократилась вчетверо или пятеро. Но я жалею теперь об этих опущениях: для чего же в таком случае делаются переводы? Разве во множестве случаев они не могут заменять подлинников или наводить на мысль о справках в оригинале? – Впрочем В. Д.-ч мог упразднить эти выдержки и в силу редакторских полномочий даже против моей воли. Ведь у меня ни копейки не было на издание диссертации, а казенный срок дан невелик, следовало торопиться. Формальные затруднения я избежал сам, без указаний В. Д.-ча так: идею Логоса в Ветхом Завете напечатал отдельно в Православном Обозрении, – первую часть с введением и вторую без двух последних глав – в Прибавлениях к творениям св. Отцов, – а третью часть, соединив с последними двумя главами второй, обработал в *pro venia legendi* и напечатал отдельно в Прав. Обозрении, за что и получил магистерство.

О своем кандидатском сочинении я был нельзя сказать чтобы скромного мнения. Я мечтал тогда ни более, ни менее, как только об открытии формулы или даже закона, по которым движется философская мысль. Совершенно разделив, – чему отчасти содействовали мои прежние работы о Джордано Бруно и спекулятивном теизме, – религиозное и

философское знание, как мирознание и боговедение, я поставил пантеизм или философию и теизм или религию, как две данные и положительные противоположности, и по предметам, и по методам, и по источникам ведения. Истинная философия может быть только космофией, мирознанием и пантеизмом, – а истинная религия выражается только в теософии, богознании и теизме. И никогда и ни одна философия не смогла удержаться в своих границах космофии и всегда претендовала на абсолютность и теософию. Но не имея никаких возможностей в боговедении, она сначала всегда кончала самоубийством и переходила в философский абсурдный деизм, а потом в столь же невозможный и искусственный философский теизм. Эти три стадии пантеизма, деизма и теизма (философского, в противоположность религиозному) неизбежно проходит философская мысль каждой культуры, каждой эры, каждого народа. Содержание философии меняется, сообразно времени, культурам и народностям, но формы пантеизма, деизма и теизма остаются всегда и везде неизменными. Сюда я подвел в введении и Филона. Носился я тогда с мыслью раскрыть этот закон и во всей истории философии, в частности в истории логологии. Но намерение это, конечно, не могло пойти далее подземного помоста, как и большинство всех ребяческих затей и юношеских фантазий.

Вообразалось также, что, осветив филонову логологию с точки зрения личных религиозно-нравственных запросов духа философа, я нашел ключ к объяснению противоречий Филона и вообще к построению его логологии.

Михаил остался чрезвычайно доволен, восторженно меня облобызал, поздравил с окончанием продолжительного труда и со скорым магистерством. Впрочем, отзыв написал карандашом очень общий и краткий (две странички самого разгонистого и крупного почерка). В нем говорилось об обширности труда, полной осведомленности с литературой, самостоятельном изучении подлинника, кажется, оригинальности постановки предмета, основательности, обработанности и точности философского языка и хорошей подготовке лингвистической. Излагаю отзыв по памяти, не ручаясь за буквальную точность. Балл самый высокий 5.

Я ликовал. И странно, вопреки своему обычному настроению по отношению к своей весьма и весьма неважной особе, я почему-то возомнил себя тогда героем, способным действительно исполнить то, о чем мечтал. Мечты, мечты, где ваша сладость! Тем тяжелее было последовавшее потом разочарование в своих силах и убеждение в научной

ничтожности моей работы и фантастичности моих затей.

Но это – после. А тогда я перевалил на четвертый курс с повышенным настроением.

По идее этот курс, без обязательных лекций и долбления билетов подозрительной осмысленности, по несвязанным между собой дисциплинам, представлял нечто в высшей степени нужное и плодотворное. Дело в том, что старая, как и теперешняя, академия выпускала своих питомцев неподготовленными ни к практической ни к научно-теоретической деятельности. Несмотря на довольно почтенный возраст свой в 24–26 лет, оканчивавшие и оканчивающие курс академии не обладают никакой практической подготовкой ни к пастырству, ни к учительству, ни к профессуре, ни к науке. Все приходилось и приходится каждому начинать с азов.

Тогдашний четвертый курс стремился устранить эту нелепость. Введены были специальные группы дисциплин и практические занятия по ним, – а отсутствие обязательных лекций, сочинений и экзаменов давало каждому полную возможность, при самых наивозможно лучших условиях (библиотека, профессора-специалисты, отсутствие посторонних работ), самостоятельно работать над излюбленным предметом.

К сожалению, действительность не соответствовала идее. Для всякого нового дела закон человеческой инертность требует особого подгона. Русскому, а может быть и всякому человеку для движения по непроложенному пути нужен «кнут», я едва не сказал с Никанором, архиеп. Одесским «животворящий», если бы это не отдавало кощунством, особенно для архиепископа. А кнута не было. Для начинавших приват-доцентов и доцентов специально-практические занятия не всегда были под силу, да составление курса, а некоторым и писание магистерской диссертации – не оставляли времени для этого. Старцы ворчали на новшество, а может быть и ленились. Так воз стоял недвижим до 1884-го года, когда новый устав сдал его в архив истории академии.

Все-таки кое-что пытались делать. Моя специальная группа была VII: греческий язык с дополнительным богословским предметом Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Специальные группы церковно-богословских дисциплин не имели дополнительных предметов, но для светских групп требовался еще один дополнительный церковно-богословский предмет, смотря по отделению, напр. для богословского: догматика, патристика и др., – для исторического: церковная история общая и русская, библейская история, – для практического: каноника, гомилетика, литургика, – и для всех отделений общеобязательные богословские дисциплины: Св.

Писание, Основное богословие. Я хотел было взять догматику или основное богословие. Но Михаил мне заявил, что для магистерства надо взять предмет, к коему принадлежит диссертация, а моя-де работа относится к Новому Завету. Но отдельного-де предмета Новый Завет не составляет, а соединен с Ветхим. Пришлось взять целую группу и таким образом готовиться по двум специальным группам.

Кроме предоставлявшихся воле каждого домашних занятий по специальностям требовались и обязательные работы в виде рефератов, лекций и конспектов по специальным отделам дисциплин. По греческому языку я взял, по связи со своей диссертацией, Платона, написал подробный конспект о его жизни, сочинениях и учении, а для специального перевода – Федона. Практическими занятиями С. К. Смирнов нас не утруждал. Нас было четверо, каждый написал и прочел по две лекции, следовательно, восемь – десять часов во весь год. При чтении лекции делались замечания о дикции, изложении и содержании. Я читал одну лекцию на свою тему: учение Платона о бессмертии души в Федоне, – были сделаны замечания о длине лекции, ее философичности и особенно о быстроте моей дикции. Для второй лекции давал тему С. К-ч: βίος и ζωή, – вышла маленькая и читал медленно, – прошла без замечаний. Эти же лекции обращены были потом в пробные, дававшие право на преподавание греческого языка в семинарии и избавлявшие от чтения пробных лекций в самих семинариях, перед семинарским советом или правлением.

По Священному Писанию никаких рефератов и лекций я не читал, так как это был предмет только дополнительно-богословский, а не для моего преподавания в семинарии.

Но помню, что однажды Михаил собрал своих специалистов в аудиторию, сказал вступление на тему: «Пересаживайте, пересаживайте заграничную богословскую науку на русскую православно-церковную почву», – и заставил меня толковать начало 1-го послания Иоанна Богослова, входившего в мой конспект. Были и еще подобные же выступления, но я ничего о них не помню.

По Ветхому Завету или совсем не было практики или же память теперь изменяет мне. Как будто мерещится, что происходили конфликты с Елеонским на почве греческого и еврейского языков, быть может даже со мной. Во всяком случае, Е-кий в то же время еще не было достаточно подготовлен к ведению специально-научных практических занятий по Ветхому Завету. А я считал себя не обязанным заниматься практикой по Ветхому Завету, как предмету только дополнительному. И если ходил когда на занятия, то добровольно и из любопытства.

По смыслу устава, кажется, ничего больше и не требовалось для получения степени кандидата богословия и права на преподавание в семинарии. Только желавшие получить степень магистра обязаны были сдать нечто вроде магистерского экзамена. Так толковал устав и Михаил, бывший тогда уже ректором, почему он и провалил у нас на магистранстве 13 человек, какового количества кандидатов не бывало ни прежде, ни после. Держался он тогда того взгляда, что не следует давать магистранства тому, кто не желает быть магистром, и что таковых не должно принуждать к магистранскому экзамену.

По Новому Завету я взял Евангелие и послания Иоанна, как стоявшие в связи с моей работой о Логосе. В течение года много занимался и написал обширный и весьма подробный конспект.

По Ветхому Завету Н. А. Елеонский предложил было мне Псалмы. Но у меня не было ни времени ни охоты отвлекаться от своих прямых работ в область дополнительного и мне не особенно нужного предмета. Стал просить Н. А-ча о разрешении взять книгу Премудрости Соломоновой, как входившую в пределы моей магистерии. По своей доброте, хотя и с большей неохотой, Н. А-ч согласился на неканоническую книгу. С этой книгой я уже был знаком (александрийские предшественники или сомысленники Филона) и написал также специальный и большой конспект. Но оказалось, что я подвел доброту Н. А-ча под большую неприятность, как сейчас скажу об этом.

Экзамен по греческому языку, моей прямой специальности, прошел гладко. На вопросы по конспекту я ответил, меня только удивили специально-философские познания С. К-ча об идеях Платона, чего уж никак не предполагал у него. Но уже теперь только, при составлении очерка о С. К-че для юбилейного издания, я узнал, что об идеях Платона он писал Ф. А. Голубинскому семестровое сочинение, и очень дельное, напечатанное потом в Москвитяине. Перевод из Федона *á libre ouvert* прошел также удовлетворительно. Только при объяснении слов *λειτουργεῖν* или *λειτουργία* я сообщил, кажется, не все специально-археологические обрядовые подробности.

Экзамены по Новому и Ветхому Завету были одновременно. Присутствовали: Михаил, как ректор-председатель и профессор Нового Завета, – Н. А. Елеонский, как доцент по Ветхому Завету, – Д. Ф. Голубинский, как ассистент. Михаил проверял меня недолго, – два-три вопроса, ради формальности.

Но с Н. А. Елеонским вышло некоторое столкновение. Михаил с каким-то особенным выражением и приподнятым голосом заметил: «Ну,

теперь послушаем, чем угостите нас по Ветхому Завету». Елеонский подает Михаилу мой конспект. – «О Премудрости Соломоновой, – такой неважной в Ветхом Завете и даже неканонической книге?! Стоило трудиться на магистра!"... Говорит ректор, и пренебрежительно конспект мой бросается в сторону Н. А-ча, как будто он был тут в чем виноват.

Эту, оскорбительную для Елеонского, выходку Михаила я подозреваю в искусственности и преднамеренности со стороны его, она была совсем не в духе его обычной терпимости и даже как бы безразличия к студенческому самоволию в работах, – особенно по отношению ко мне. Да и ранее Михаил уже знал от меня, что готовлю я по Ветхому Завету, и, думаю, одобрил мой выбор работы, по ее прямой связи с магистерией. Наверно говорил свое обычное: «И прекрасно, так и надо» и т. д. Но Н. А-ч Елеонский, кажется, не скрывал своих симпатий к П. И. Горскому и к его партии, и своей антипатии к Михаилу и Михайловской партии. Михаил воспользовался случаем, в качестве ректора, кольнуть самолюбие малой спицы в колеснице, – доцента.

Но Н. А-ч решил выместить свою злость на мне, магистранте Михаила, пишущем магистерскую диссертацию ему. Он задался целью ни более ни менее как провалить меня на магистрантстве. Начались придирки в явно раздраженном и кипятиливым тоне, но мелкие, слабо обоснованные и к делу мало относящиеся. Н. А-ч, конечно, не ожидал случившегося и не подготовился: а я стоял во всеоружии специалиста и победоносно отражал нападки. Михаил только ухмылялся, свысока поглядывал на доцента и кивал одобрительно мне. Это, конечно, еще более возбуждало Н. А-ча. Наконец он с научной почвы перешел на мое якобы неправославие и еретичество. У меня был в конспекте тезис о связи книги с александризмом, что, по Е-му, будто бы недопустимо для книги и неканонической, но библейской и церковной. Тезис указывал в скобках на некоторые сближения книги с александрийской философией (или стоицизмом через александризм), напр. в виде Логоса, перечислении добродетелей и др. Против этого обвинения я победоносно указал на цитаты ап. Павла из языческих писателей, на послание к Евреям, на слово Логос у Иоанна Богослова, на святых отцов и учителей Церкви.

Всю эту, довольно продолжительную стычку прекратил Д. Ф. Голубинский вопросом: «Вот вы утверждаете в конспекте, что книга Премудрости имеет александрийское происхождение, – а египтяне отличались знанием математики и вообще естествознанием: имеете ли вы доказательство этого в самой книге?» Я сослался на указанное в конспекте место Прем. 11, 20: «Вся мерою и числом и весом расположил еси (διέταξας

– устроил, упорядочил)», – текст, всегда приводившийся самим Дим. Ф-чем во вступительной лекции его.

Намерения со стороны Е-го провалить мое магистрантство я никак не мог предполагать, такая нелепость совсем не приходила тогда в голову мне, хотя необычайная для Н. А-ча придирчивость вызвала во мне недоумение. Вскоре потом, через год, когда я сделался коллегой Н. А-ча, он рассказал мне о своем споре против моего магистрантства и о причинах его. Наверно он думал, что я это знаю. Но ни Михаил, ни Д. Ф-ч ничего мне не говорили о поданном против меня голосе Е-го. Я это узнал только от него самого. Один голос, хотя бы и специалиста, против двух значения не имел, Н. А-ч мог бы подать в Совет свое заявление, но у него не было для этого никаких оснований, кроме самой книги Премудрости, которая была одобрена им. Да и странно: почему по Ветхому Завету нельзя было бы взять эту книгу для магистерского экзамена? Разве она не принадлежит Ветхому Завету и Библии? Наконец, в Совете, если и мог кто поддержать Е-го, то один и только его приятель П. И. Горский, в чем однакож я сильно сомневаюсь. Во всяком случае, это была бы затея еще более нелепая, чем самый экзамен, – и столь же безуспешная. Наконец, я мог бы держать по другой дополнительной дисциплине, а не по Св. Писанию.

Так окончился мой последний в жизни экзамен.

Главным предметом моих занятий на 4-м курсе была магистерская диссертация. Теперь я работал над предполагавшейся второй половиной диссертации – учением Иоанна Богослова о Логосе. Но тут я убедился, что правильнее и плодотворнее ставить против Филона не одного Иоанна Богослова, а и ап. Павла и вообще весь Новый Завет. Занялся изучением идейной стороны всего Нового Завета, как противоположности религиозно-нравственного теизма Нового Завета философско-рационалистическому теизму Филона. Получилось нечто вроде новозаветной идеологии или логологии в системе, приблизительно и в общих чертах сходной с тем, что мной изложено в статье Юбилейного Сборника: Новый Завет как предмет православно-богословского изучения. Этим думал я закончить круг древней логологии и перейти к дальнейшему раскрытию исторического движения идеи Логоса в период святоотеческий, средние века и новое время.

Но человек предполагает, а Бог располагает. Промысл судил мне другие задачи. Всегда за все благодарю Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, ибо Бог производит в нас хотение и действие, по благоволению (Ефес. 5, 2 и Филип. 2, 13).

Наше богословское отделение, без Папаши, казалось убогоньким

сравнительно с другими, особенно с историческим. У богословов были приват-доцент Н. И. Лебедев – кандидат, доцент Петропавловский – магистр, даже нелегально застрявший в академии исправляющий должность доцента Иванцов, без степени, – да мало заявившие себя в науке вечные магистры и экстраординарные П. И. Горский и П. И. Казанский. Напротив, у историков были все светила науки – или настоящие или будущие: П. С. Казанский, Е. Е. Голубинский, Н. И. Субботин, даже юнцы тогдашние смотрели уже будущими богатырями науки – А. П. Лебедев и В. О. Ключевский. А на практическом: талантливый ветеран Е. В. Амфитеатров, ученейший А. Ф. Лавров и подававший блестящие надежды, хотя и болезненный, И. Д. Мансветов. Перед этими орлами и орлятами наши Петропавловские, Иванцовы, Лебедевы, Казанские, Горские совсем терялись, так что нам, богословам, становилось иногда как будто стыдно и не кем было похвастать, когда начинались споры о том, какое отделение лучше, или надо было указывать на своих профессоров перед вопросами лиц посторонних. Приходилось отделяться ссылками на преподавателей дисциплин общеобязательных: Михаила, Кудрявцева, Потапова. Впоследствии, когда я сам был уже преподавателем общеобязательного предмета, хотя административно и принадлежавшего к богословскому отделению, мне приходилось глотать от А. П. Лебедева такие пилюли, как: «На вашем богословском отделении все бездарности и лентяи». Укажешь на Михаила или Кудрявцева, а он: «Но это ведь общеобязательные предметы», и под. Надо заметить, что из общеобязательных предметов одни административно причислялись к богословскому отделению: психология, метафизика с логикой, история философии, Св. Писание, основное богословие и педагогика, – а другие к практическому: древние языки.

Напротив, студенты на богословское отделение обычно набирались получше, на историческое средние, а на практическое похуже. Так и говорили: богословы – мыслители и философы, историки – труженики, а практики – бездельники. Такая общая характеристика, как и все слишком общее, конечно, требует очень больших ограничений и многочисленных исключений. Тем не менее опыт оправдывает характеристику. За 12 лет действия устава, с 1872 по 1884, богословское отделение дало 21 магистра, историческое только 10 а практическое всего 7, так что оба отделения вместе – историческое и практическое дали магистров менее, чем одно богословское. И это тем любопытнее, что богословские дисциплины, при огромной разработке их на Западе, гораздо труднее для диссертаций, чем исторические и практические, особенно относящиеся к России.

Наблюдение это теряет значения, если исключить и темы по общеобязательным богословским предметам – Св. Писанию и основному богословию, так как получится: богословских и исторических тем поровну (8), а практических только половина (4).

Объясняется это тем же, почему я и попал на богословское отделение. Всякий семинарист желает петь басом и быть философом, была поговорка у нас. Преподаватели философии в семинарии считались умнягами. В первых двух классах словесность и литература, кроме внешней стороны и фабул, еще мало доступны пониманию, для этого нужен жизненный опыт, – а историю только долбили по Иловайскому. Напротив, в средних классах, третьем и четвертом, уже понимали и логику, и психологию, и отчасти, по крайней мере, философию: это были науки развивающие. Затем в богословских классах, пятом и шестом, господствовало богословие основное и догматическое, уже вполне доступное разумению взрослых молодых людей, двадцати – двадцати двух лет. Между тем истории церковная – общая и русская и история раскола оставались долбней, противной начинавшим рассуждать молодым умам. Ни ученики, ни учителя, кажется, и не подозревали возможности философии истории, идейного освещения ее и идейно-философских рассуждений над событиями. И темы для сочинений давались или повествовательного или разъяснительного характера, но отнюдь не идейно-философского, например: арианские споры, крещение Руси, причины возникновения раскола, ересь жидовствующих и т. п. все в том же духе учебников Е. Смирнова и Иловайского, – или же в гомилетическо-напыщенном тоне Филарета Черниговского, напр. самоуничтожение раскола, протопоп Аввакум как образец пустосвята и под. Интеллектуальной слабостью учебников и преподавателей истории в семинариях объясняется, что наиболее развитые семинаристы питали ко всяким историям глубокое отвращение и видели в них утомительно-бесплодную долбню. Таково ли положение истории в теперешних семинариях, не знаю, но желал бы, чтобы было не таково.

С таким, сказать, противоисторическим и философско-богословским настроением являлись и в академии наиболее развитые и даровитые семинаристы-перворазрядники. На историческое и практическое отделение поступали или те, кто не имел уже никакого расположения и способности к богословию и философии, или же те немногие счастливицы, у кого были более умные и даровитые преподаватели по историям и литературе или гомилетике.

В нашей семинарии таких не было, исключая одного преподавателя

гомилетики, литургики и руководства для пастырей – Глебова. Вслед за семинарскими авторитетами я и сам считал себя богословом и не любил истории, поэтому записался на богословское отделение, – а мой товарищ, И. Ф. Перов, избрал практическое, тоже, кажется, по совету Глебова.

Правда, очень скоро постиг я глубокую разницу между богословским и историческим отделениями, но моя слабохарактерность и настойчивость Папаши закрепили меня за богословским отделением. Впрочем, вышел ли бы какой толк из моего перехода на историческое отделение, сомневаюсь, – пожалуй, изменились бы только семестряки и экзамены, а кандидатское и магистерское остались бы те же. Но если бы вот теперь пришлось избирать отделение, я предпочел бы практическое, с его литургией и гомилетикой. Да, *transeunt anni, gustus mustantur!*

Сообщу, что знаю лично и от других о профессорах исторического и практического отделений.

П. С. Казанский, помощник ректора (почему-то назывались у нас деканами) на историческом отделении (на нашем помощником ректора был В. Д. Кудрявцев) и ординарный профессор древней гражданской истории. Сухой, изможденный, чахоточный, высокий старик. Старый, так сказать заржавленный холостяк, он жил в своем доме на Вифанке (дом этот потом перешел к женатому на его племяннице проф. Однофамильцу П. И. Казанскому) вдвоем со служителем, в стиле старинных преданных барских слуг, таким же суровым, как барин, постоянно набивавшим барину трубку табаком и подававший зажженную спичку. П. С. Представляется мне сейчас сидящим за большим письменным столом, беспорядочно заваленным множеством карандашей, гусиных перьев, чернильниц, тетрадей, фолиантов книжных и рукописей, – в сером старом халате с колпаком на голове и трубкой, набитой тогдашним модным табаком Жукова, с длинейшим, аршина в 2 ½ – 3, чубуком. Он был нелюдим, суров с посетителями, студенты не любили ходить к нему. Когда пришел срок подачи первого семестряка, Кудрявцев и Амфитеатров отсрочили нам подачу дня на два – на три. А историки, кажется, не пошли за отсрочкой к Казанскому, – говорили, не всерьез, конечно, что он пускает в ход свой чубук, по крайней мере против своего служителя. Считали его строгим формалистом, правдолюбом, ревнителем экономических интересов академических, в частности и особенно студенческих – в правлении. Рассказывали такой случай: после всенощной, в темную дождливую осеннюю ночь, выйдя на крыльцо и увидав предназначавшуюся для жены и дочери инспектора пролетку, он сел сам и велел везти себя домой, так как инспектору-де по штату не

полагается лошади и экипажа. Подобные выходки П. С-ча в правлении создали ему многих недоброжелателей в корпорации, так что он после 30-летней службы не был избран на последнее пятилетие и с большими препонами получил степень доктора. И это – несмотря на то, что А. В. Горский, пользовавшийся всеобщей любовью и авторитетом, был за П. С-ча. Один из студентов старших курсов рассказывал, что когда П. С. жил еще в академическом корпусе, с бакалаврами на положении холостяка, помещавшиеся там же студенты досаждали строптивного профессора рупором физического кабинета через печь или поле. Сообщали, что он упек в монахи немало провинившихся студентов, – между прочим, с его именем соединяется и монашество Михаила. Он был очень исправен в посещении лекций и храма. Как сейчас вижу его высокую, тонкую, согбенную фигуру в прежнем, уютном и небольшом, как бы семейно-академическом храме, одиноко стоящую на правой стороне, позади Кудрявцева с супругой и С. К. Смирнова, нередко разговаривавших во всю службу. П. С.-ч стоял неподвижно, согбенно и сосредоточенно, лишь изредка издавая грудной кашель и убирая мокроту в цветной шелковый платок. Лекций он также, кажется, никогда не опускал и являлся очень скоро после звонка, не заставляя слушателей долго ждать его. Я был только дважды на его лекциях. Вначале курса и на его прощании со студентами. Он постоянно кашлял, так что о нем говорили, что он «кашляет свои лекции». Начинал читать тихим и низким басом, потом возвышал голос и доходил до чахоточного, резко неприятного крика. Читал по-дьячковски, без всякой выразительности, хотя, по-видимому, с претензией на декламацию. Содержание лекции: поминание бесконечного ряда мудреных имен и династий не то китайских, не то египетских, не помню. Слушать было нечего, запоминать невозможно. Лекция была, очевидно, заимствована из какой-нибудь истории Китая или Египта. Почему-то историкам его лекции казались очень учеными. Но еще послушать подобную лекцию меня не заманили бы уже никакие калачи. Но у П. С-ча был большой ученый авторитет русского историка, с его именем соединялось начало научной критики Несторовой летописи. Однако же мне пришлось быть еще на одной, прощальной лекции П. С-ча, когда историки, кажется, демонстративно, в пику забаллатировавшему П. С-ча на последнее пятилетие Совету, что-то подносили ему и что-то говорили (адрес или речь не помню). В ответ П. С-ч сказал прекрасную и действительно одушевленную лекцию, с дрожанием голоса и слезами на глазах. Последнее, вначале лекции, когда он говорил, как тяжело ему оставлять Академию, особенно аудиторию и студентов после 30-летней

службы. Потом он перешел к спокойному поучению студентов и призыву их к научной разработке русской истории, в каком бы положении они не очутились по выходе из академии. «Для этого, говорил он, не требуется каких-либо выдающихся талантов. Вот я не могу похвалиться выдающимися способностями, кончил, не высоко, не перваком (четвертым, 13-го курса, 1842 г., – его товарищи: Аничков, Иоанн Соколов, впоследствии еп. Смоленский, Левицкий, автор Премудрости и Благости Божией, Полисадов), а ведь все же кое-что сделал по науке. И каждый из вас легко найдет себе работу, не только в губернских больших городах, в консисторских и семинарских архивах, в описании археологических памятников, – даже в уездных городах, в духовных училищах, старинных церквах и под. Работайте же везде, где бы ни служили вы». Это простое, искреннее и задушевное напутствие произвело на меня более сильное впечатление, чем все другие лекции так называемых интересных профессоров. Припоминаю смутно докторский диспут П. С-ча, в рождественский семестр 1873 г. По новому уставу П. С-ч, как ординарный профессор, обязан был в двухлетний срок представить и защитить докторскую диссертацию. Для сего он, как некоторые другие (Михаил, Кудрявцев, С. К. Смирнов), представил ранее напечатанные им труды о Египетском монашестве, – труды, сколько мне известно, в научном отношении не особенно важные и не стоявшие на тогдашнем научном уровне. Притом, с забаллатированием П. С-ча на следующее пятилетие и уже состоявшимся предназначением к занятию через год его кафедры Н. Ф. Каптеревым, – получение П. С-чем докторской степени не имело для него уже никакого значения. Но он, по-видимому, из-за упрямого желания довести дело своего докторства до конца, ввиду бывшего скандала (члены Совета не явились на назначенный диспут в достаточном числе), не захотел прекращать дела и пожелал публичного диспута и защиты докторской диссертации. Официальными оппонентами были сам А. В. Горский, защитник П. С-ча, – и молодой доцент А. П. Лебедев, на частных советах исторического отделения примыкавший к противной партии. Надо заметить, что эта партийность продолжалась потом и в деле замещения экстраординатуры на историческом отделении в начале 1875-го года. Из двух кандидатов – В. О. Ключевского, ставленника партии Казанского и Горского, и А. П. Лебедева, ставленника партии Михаила и Амфитеатрова, – большинство голосов (8 избирательных и 4 неизбирательных) получил ставленник второй партии А. П. Лебедев, (Журналы, стр. 26). Это известно было и студентам. Диспут происходил 2-го октября 1873-го года, в присутствии Москов. викарного епископа Игнатия. А. В. Горский читал

что-то вроде лекции, хвалил книги П. С-ча, подробностей не помню. А. П. Лебедев выступил с повышенной притязательностью молодого доцента, впервые выступающего на ученом публичном состязании. Но П. С. скоро и резко осадил его. Речь зашла о смерти св. Афанасия Александрийского. П. С-ч на какое-то возражение ответил контрвозражением: «Да в каком, по вашему, году умер Афанасий?» – А. П-ч замялся, осел, стал ерзать в кресле, как это обычно он делал на кафедре. – «Не знаете?! Еще не успели узнать?! Так я скажу Вам: в таком-то году. Стало быть этого не могло быть». Я не понял и не запомнил, в чем тут было дело. Но интересно то, что у студентов в тот же день распространилось сообщение (полагаю, что этому содействовал П. И. Горский, племянник П. С-ча), что на бывшей после диспута у ректора закуске, П. С-ч будто бы обратился к А. П-чу с такими словами: «А я соврал Вам о годе смерти Афанасия, – видно, что Вы еще мелко плаваете по историческому морю». Правда это или нет, не знаю, впоследствии, при близком знакомстве с А. Петровичем, я ни разу не проверил у него этот слух, – тогда я не интересовался еще такими пустяками стариковского возраста. Во всяком случае это любопытно для характеристики тогдашней интеллектуальной жизни студентов и профессоров. – Припоминаю случай, бывший с одним из моих товарищей. Он осмелился пойти к П. С-чу за советом о пособиях на церковно-историческую тему, по патристике, чуть ли не об истории Евсевия. П. С-ч сказал, что на тему у него нет ничего, но вот «профессор» (sic! тогда еще доцент) А. П. Лебедев издал целую книгу об этом, попросите у него. Тот, ничтоже сумняся, идет к А. П-чу и в просте просит одолжить для пользования его книгу о церковной истории Евсевия. А. П. Лебедев смутился и заявил, что он не издавал такой книги. Спросил, почему студент пришел к нему, – и узнав, что его послал П. С-ч, заявил, что это он нарочно, в насмешку над молодым доцентом. Весьма вероятно, что с заносчивостью молодого таланта А. П. когда-нибудь говорил о своем намерении заняться церковной историей Евсевия, – да впоследствии он и действительно издал книгу о церковных историках. Но в то время он печатал свою магистерскую диссертацию, посвященную разбору Дарвина. Тогда (27 курс 1879 г.) диссертация еще не защищалась публично и темы студентами брались не добровольно, а назначались им Советом. П. С-ч хотя и был подвижником науки, но не чуждался общения с товарищами, бывал на вечерах у других и устраивал их у себя, – играл в карты, как свидетельствует об этом отдел под заглавием «картежные дела» в записной книжке С. К. Смирнова (Юбил. издание «Памяти почивших наставников», стр. 256).

Андрей Петрович Смирнов – молодой доцент по библейской истории. Мне пришлось выслушать его первую вступительную лекцию. Явился он в аудиторию не совсем в обычном виде. Высокий, стройный, довольно красивый, с большим открытым лбом, молодой доцент был в новеньком цивильном фраке, белом открытом жилете, с массивной золотой цепью при золотых часах, белой сорочке с блестящими золотыми запонками на груди и в рукавах, белом галстуке, с белой перчаткой на левой руке и с другой в ней перчаткой и блестящим цилиндром. Все блесло на нем, и сам он был какой-то сияющий, приподнятый. Оказалось потом, что он был в визитном костюме молодожена, перед визитами или после них. Но речь и выговор молодожена совсем не соответствовали его аристократическому внешнему виду: частая, скрадывающая буквы, с резко выраженным ярославским акцентом. Над этим говором уже во время приемных экзаменов ходила насмешка в такой фразе: «Мотылек-от порхать, порхать», точно также как воронежцев и курян высмеивали словами: «Хвауст, Хведор, Митрохван». Молодой доцент не всходил на кафедру, а ходил вдоль аудитории перед слушателями, держа цилиндр и перчатку в левой руке и часто-часто сыпал что-то о ретроспективных взглядах на историю, и многое множество немецких слов. Я не уловил содержания лекции, ее темы и развития. По-видимому, речь шла о новейших немецких построениях библейской истории на основании вновь открываемых памятников и по новой критической методе. Ни одной лекции более я не слышал. Историки, приходя с его лекций, нередко высмеивали его увлечение немецкими терминами и прозвали его Штатгальтером, потому что этим термином и канцлерами он называл наместников и высших правительственных лиц библейских царей. Впрочем, у А. П-ча был далеко незаурядный талант художника-публициста с библейским стилем. Библию он знал превосходно, как средневековый раввин: он не только говорил Библией, – он ей думал и чувствовал. Его очерки библейских лиц и событий и библейские изречения в применении к современности и для освещения ее восхитительны, полны истинной художественности, теплой задушевности и неподражаемой оригинальности. Как художник-публицист А. П. Смирнов вправе ожидать подобающей оценки от казенных и добровольных любителей церковного красноречия. Его лекции-статьи в этом стиле увлекательны. За все столетие с ним, в этом отношении, может равняться разве один Иоанн Смоленский.

Алексей Петрович Лебедев, тоже молодой доцент, товарищ А. П. Смирнова, но «из молодых да ранних», уже тогда смотревший будущей знаменитостью, и по профессуре и по науке. Внешний вид имел тогда

мало профессорский. Это – не дарвиновская голова с большой бородой П. И. Горского. И не изможденный аскет в восточном стиле, как П. С. Казанский. Тем менее А. В. Горский с благообразным видом святого отца. А. П-ч оставлял впечатление длинноты, узкости и нескладности. Особенно голова: очень небольшая с необыкновенно узеньким и неразвитым лбом. Лицо клинообразным осколком, с очками вместо глаз и худосочной растительностью на губах, щеках и подбородке. Впоследствии, когда А. П. очень растолстел, получилась маленькая голова на огромном туловище. Входил на кафедру маленькими шажками, как будто кокетливо и рисуясь садился в кресло, начинал беспокойно привставать и приседать, ерзать, дергаться. Потом вынимал тетрадку, близко-близко прижимался к ней (был очень близорук) и после нескольких откашливаний, издав сначала какое-то мычание, начинал чтение или очень низко, переходя потом к высокому крику, или начинал с высоких нот переходя к более низким. И эти переходы не стояли ни в какой зависимости от содержания лекций. В манере чтения было у А. П. сходство с П. С., но П. С. читал басом, а А. П. то поднимал очень высоко спину, то опускался, напоминая движения морского дельфина. В первые годы, при мне, он очень гнусавил. Так как в обычной беседе и в позднейшей актовой речи (о Феофаново) никакой гнусавости у него не замечалось, то я думаю, что это было кокетством неумелого подражания французскому говору. Но по содержанию и изложению лекции были превосходны. Стиль легкий, ясный, простой, без всякой искусственности и разных вывертов красноречия, риторики и фразистости. Каждая лекция оставляла в голове отчетливое впечатление о предмете и запоминалась. В его чтениях были и логичность и некоторая идейность, чего так недоставало семинарским учебникам и лекциям П. С. Казанского. Точное представление о его лекциях дают его сочинения, все представляющие обработку его аудиторных чтений. Наиболее типичным выражением лекций моего студенчества может служить его докторская диссертация о вселенских соборах IV и V веков. Я очень любил слушать лекции А. П-ча, и несмотря на свою неисправность в этом деле часто ходил к нему на всех курсах, даже и на четвертом. После греческого языка и Михаила это был наиболее часто мною посещаемый профессор. Аудитория его всегда была полна. Оставляя в стороне чисто научную сторону, подлежащую субъективной оценке, как профессор А. П-ч был образцовейшим. Он любил новенькую книжку до фанатизма, на лету ловил все заграничные новинки и немедленно же знакомил с ними и аудиторию и печать. Своими лекциями, семестровыми сочинениями и кандидатскими рассуждениями он умело вызывал на свет печатные

магистерские работы, – из дюжины (приблизительно) таковых половина принадлежит лицам, занявшим профессуры в высших учебных заведениях: Андреев, Глубоковский, Доброклонский, Лебедев Н. И., Мартынов и Спасский, – можно даже говорить о церковно-исторической школе Лебедева в Московской Духовной Академии. Наконец А. П-ч обладал завидным и редким для профессора и ученого *ars tacendi*, даром говорить и писать только о предмете, – не загромождать темы отступлениями и набиванием попутного ученого балласта, – не разбавлять исследования или рассуждения издательством материала и не затмевать головы туловищем, – недостаток, в коем теперь стали упрекать русских заграничные рецензенты. «Действительно только то, что разумно и на тему», шутливо в духе Гегеля говаривал А. П-ч мне, начинавшему писателю, – впрочем, бесплодно. – Во время студенчества я только раз лично обращался к А. П-чу, на первом курсе, во время патристического семестряка. А. П. жил тогда на квартире у инспектора С. К. Смирнова, во флигеле (дом и флигель целы донныне, принадлежат Зайцеву), против коего стоял деревянный (теперь кирпичный) сарай, а перед ним огромный собачник и в нем большой цепной пес. В то время А. П. напечатал свою магистерскую диссертацию против Дарвина. По этому поводу один остроумный сожитель нашего номера дал А. П-чу прозвище: «антидарвинист, что против собачьей конуры». Из данных по патристике тем я прежде избрания Философументов пожелал ознакомиться с темой о церковной истории Евсевия (не то характеристика ее, не то источники, не припомню). Квартира и обитатель ее напомнили мне П. С. Казанского: табачный чад, книги и тощий высокий обитатель. А. П. весьма любезно, но деловито принял меня, спросил о моей нужде в нем. «А что же ваш специалист? Впрочем, ему теперь не до благочестивой (Евсевий) патристики», несколько как бы пренебрежительно заметил он, намекая на периодическую болезнь нашего патролога. Дал книжки две немецких и один большущий фолиант старый на латинском языке (теперь не припомню заглавий и авторов), сказав, чтобы я поскорее возвратил их к нему. При этом заметил еще по моему адресу: «Вот, когда познакомитесь с Евсевием хорошенько, не будете вести нелепых споров, как на приемном экзамене». Я смутился и пробормотал что-то вроде извинения. – Впоследствии мне пришлось ближе узнать доброту, приветливость, благожелательность и благодушную насмешливость А. П-ча. Он не был замкнутым аскетом науки, но, при всей огромной усидчивости и редком трудолюбии, находил время и для загородных прогулок и вечеринок в компании с игрой в карты (преферанс и винт) и чарой доброго вина, всегда

умеренной, без эксцессов. Впрочем, А. П-чем иногда допускались и обидные резкости по отношению к другим, что и ему самому приходилось терпеть от других. Были у него неприятели: П. И. Горский, Д. Ф. Касицын, В. О. Ключевский. Считаю нужным упомянуть об этом для правильной оценки суждений как его самого о других лицах, так и других лиц о нем. Я лично находился в добром приятельстве с А. П-чем до торжественного обеда в честь его 25-летнего юбилея в 1895-м году. Мне и сидевшему рядом коллеге стала претить некая, показавшаяся нам, неумеренность самовосхвалений А. П-ча в его ответах на юбилейные приветствия. Решили и мы сказать по тосту, но тосты вышли неуместные. Мой сосед с истинно великорусским прямодушием сказал что-то о юбилейном фотографическом венке, в центре коего (кажется, вместо портрета) должно стоять слово «я». Я сказал нечто похитрее: «Митрополит Филарет, когда ему было предложено написать свою автобиографию для какого-то издания, дал такой ответ: худо учили, хуже учился, а еще хуже учил. Если так или приблизительно так, не помню, сказал о себе великий и всеми чтимый Филарет, то что же можем говорить о себе мы, люди маленькие перед Филаретом? – Но Вы, Алексей Петрович, счастливое исключение. Если по филаретовскому смирению скажете о своем профессорстве то, что сказал Филарет о своем учительстве, то сонм Ваших учеников выступит живым свидетелем против Вашего смиренномудрия, ни в коем случае не могущее воспретить Вам сказать о себе самом: «я трудился»". Собственно ничего, по существу, прямо оскорбительного для А. П-ча не заключалось в этом тосте. Но сравнение с Филаретом и речь о смиренномудрии и трудолюбии почему-то показались некоторым оскорбительными для А. П-ча. Внушили ли другие А. П-чу об оскорбительности моего тоста, или же сам он усмотрел ее, но только с той поры его благодушное общение со мной прекратилось, о чем искренно сожалел я, – между тем как с другим оратором продолжалось. – Считаю долгом еще сообщить, что А. П-ч не всегда был преувеличенно высокого о себе самом мнения: с годами это настроение менялось и однажды на прогулке им высказано было желание поместить на своем могильном памятнике слова блж. Августина (сейчас не припомню их точно), выражающие его недовольство собой. Некоторую тень на светлую память А. П-ча бросает его не довольно тактичная и надменная полемика с профессором университета прот. А. М. Иванцовым, коего кафедру занял А. П-ч. Годы и слава, по-видимому, ослабляли свойственную молодому А. П-чу сдержанность. *Nonnes mutant mores.* Вообще с переходом А. П-ча в университет его блестящая профессорская звезда померкла. И это, по моему мнению, служит одним из

многочисленных, моим многолетним опытом наблюдавшихся, доказательств мздовоздаяния в сей жизни, помимо будущего суда: унижение за превозношение, и именно профессорское.

В. О. Ключевский – другой молодой доцент, но уже тогда глядевший знаменитостью, особенно благодаря своей капитальной магистерской диссертации о житиях русских святых. Его лекции я посещал гораздо реже, чем А. П-ча Лебедева. Откровенно скажу: они нравились мне менее чем лекции А. П.-ча, может быть потому, что церковная история вообще более меня интересовала, чем гражданская. На первой лекции он говорил о первоначальном заселении России и о культуре ее первобытной природы. Коротко и картинно изобразил В. О-ч, как тогдашний русский мужик с топором в руках вырубал вековые леса, строил срубы и ограды, сколачивал струги и пускался вплавь по рекам и озерам и пр. Летом во время каникул я прочитал несколько первых томов истории Соловьева из библиотеки богатого помещика Нечаева (потом присоединившего фамилию Мальцева), и мне показалось много знакомого в лекции В. О-ча: она была, по-видимому, кратким и мастерским резюме Соловьева. Бывал я и на его знаменитых характеристиках Грозного, Федора Ивановича, Алексея Михайловича, Петра Великого, Павла. Более чем среднего роста тонкий, сухощавый брюнет, несколько сутуловатый, с несколько вытянутыми вперед шеей и головой, – темными глазами в очках, по причине очень сильной, чуть не предельной близорукости (под старость, кажется № 4). Всегда в сюртуке, он быстро входил на кафедру и, беспокойно поворачивая лицо (очки) вправо и влево, нервно начинал чтение. Впоследствии я видел у В. О-ча маленьких размеров (среднее нечто между 16 и 32 долями писчего листа) тетрадку с тщательно переписанными лекциями. В. О. вынимал тетрадку из бокового кармана, клал на пюпитр и незаметно как-то умел одним глазом поглядывать в нее. Говорил или диктовал лекцию В. О. очень медленно и каждое слово отчетливо, так что легко было записать ее буквально. Это давало многим возможность уже тогда запастись лекциями В. О-ча и пользоваться ими в семинариях, а некоторые кажется, ухитрялись даже их и печатать. Голос тонкий, какой то задушевно-приятный. Свои пикантности, типичные фразы источников, вообще все требующее выразительности, В. О. не только умел подчеркнуть мастерской дикцией и интонацией, но искусно пользовался для этого легким заиканием своим, делая паузы и эти заикания в нужных случаях, для возбуждения внимания слушателей. Эти так сказать прелюдии всегда заставляли слушателя ждать дальнейшей любопытности. Однакож популярность и увлекательность лекций В. О-ча отнюдь не исчерпывалась

одним только лекторским талантом, как иные склонны были думать. Гораздо большее значение здесь имели как содержание, так и изложение лекций. Поэтому нисколько не меньшее впечатление производили и такие его речи, кои он читал прямо по тетрадке, без обычных своих аудиторских приемов, как напр. на торжестве 500-летия со дня кончины препод. Сергия, – даже такая, которую я совсем не слышал, а только читал уже в печатном виде, разумею речь о Евгении Онегине. Сила и значение лекций В. О-ча – в них самих, в их научно-исторической художественности. Вообще В. О-ч был художник-историк русский, гражданский, – как Андрей П. Смирнов был художник-публицист церковно-библейский. Оба они, по-видимому, не знали цены своим талантам. А между тем именно в этом, по моему мнению, их главное значение в истории нашей Академии. История подобно газете также текуча, как сама жизнь. Любопытное и ценное теперь скоро сдается в архив. Но художественное творчество совечно той среде, где оно рождается, растет и цветет. С этой стороны В. О. Ключевский составляет с Андреем П. Смирновым славную пару. Как художники слова, оба историка оставили о себе непреходящую славу и вечную память в Императорской Московской Духовной Академии.

Заняв кафедру в Московской Академии, я все почти время своего сослужения с В. О-чем находился с ним в хорошем знакомстве. Он очень льнул к профессорской молодежи и любил разделять с нею компанию. Но здесь я помешу только пять воспоминаний. И мне и другим, кажется, не раз сообщал В. О-ч, что А. В. Горский предлагал ему продолжать описание рукописей Моск. патриаршей (синодальной) библиотеки. При этом он замечал: «Как он – Горский -меня мало знал». Но капитальная магистерская работа В. О-ча о древнерусском житии святых показывает, что А. В. отлично знал В. О-ча. Да и в самом этом замечании В. О-ча, по крайней мере, мне, каждый раз слышалась как бы некая грусть. В связь с этим ставлю другой случай. Однажды, когда речь зашла о профессорской популярности В. О-ча, он, тоже с некоей горечью, как мне показалось, сказал: «Да, популярный профессор значить расхожий профессор, вроде дешевого ходового товара». Эта расхожая или ходовая популярность В. О-ча не давала ему возможности всецело сосредоточиться на каком-нибудь одном большом капитальном труде, чего он, по моему наблюдению, внутренне очень желал. Отсюда его искреннее преклонение перед такими подвижниками науки, как А. С. Павлов и особенно Е. Е. Голубинский, – его уважение ко всему фундаментальному. Однажды, рассказывал В. О-ч, прихожу я к П. С. Казанскому, – вижу – держит мою диссертацию (о житиях святых) перегнутою на середине пополам и говорить: «Вот эту

часть одобряю и лобызаю (сведения о житиях), а вот эту, говорит, лучше бы оторвать (мои выводы и фантазии)». На одном магистерском, диспуте в качестве официального оппонента Василий Осипович говорил: «Теперешние семинаристы потеряли прежнее перо, – куда девали Вы прежнее семинарское перо?» – Припоминаю еще его замечание, что краткое сочинение написать гораздо труднее, чем длинное, и что многописцы работают медленнее краткописцев.

(окончание)¹⁰

* * *

Николай Иванович Субботин: высокий, стройный, всегда в хорошо сшитом с молоточка костюме, безукоризненной чистоты сорочке и манжетах, изящный и красивый блондин, хотя уже и в парике и, кажется со вставными зубами. Преподавал историю и обличение русского раскола весьма занятно, и студенты любили его слушать. Читал он мастерски, передавал речи разных старообрядческих деятелей – протопопа Аввакума, Никиты Пустосвята и др. – в лицах по-актерски. У меня особенно засели в памяти выдержки из автобиографии протопопа Аввакума и, удивительное дело, вместо отвращения к нему вызывали симпатию, как к непонятной, но самобытной и великой силе русского духа, хотя и работавшей в ложном направлении. Лекции отличались и великолепной литературной обработкой. Но все ограничивалось одной только внешней стороной. Никакой исторической осмысленности и идейности, без всякой вескости. Ученым мужем Н. И. среди студентов не считался: такого впечатления не производили ни его лекции, ни его журнально-газетные публицистические статейки, – а может быть этому содействовали и домашние внушения студентам со стороны недругов С – ча, коих у него было немало в профессорской корпорации, особенно П. И. Горский, С. К. Смирнов и др. Наука Н. И-ча близила его ко многим, власть имущим и высокопоставленным лицам, и его подозревали в несвойственных ученому и профессору деяниях. Недавно изданная переписка Н. И-ча с К. П. Победоносцевым вполне оправдывает эти подозрения. Но, вероятно, найдутся и другие оправдательные документы для этих подозрений. По безмездной и часто самоотверженной работе на пользу общеакадемическаго дела Н. И. принадлежать к отлынивающим профессорами. Припоминаю только один случай его участия в докторстве Е. Е. Голубинского. Но его возражения отличались не научностью, а литературным красноречием. Особенно сильному падению ученый фонд Н. И-ча подвергся от его докторской. диссертации на его докторском диспуте. История Белокриницкой иерархии хотя и носить у автора

название «исторического исследования», но есть литературно-беллетристическое произведение, а не ученая работа, – притом о предмете, по своей близости к настоящему времени и не подлежащем научному исследованию, – и, наконец, по случайным материалам, найденным не самим докторантом, а доставленным ему самоучастником этой истории – Павлом Прусским. Все это выяснилось на диспуте. Говорили, что присутствовавшие на нем Павел Прусский и Мельников – Печерский более бы заслуживали степени доктора, чем Н. И-ч. Для обязательных ученых работ – кандидатских диссертаций – к Н. И-чу отбирались самые научно малосильные студенты, в языкознании не уходившие далее русского и не мечтавших ни о чем более казенной кандидатки. За двадцать четыре года (с 1870 по 19 окт. 1894 г.) профессоры в преобразованной академии Н. И-ч по своей дисциплине не дал, если не ошибаюсь, ни одного магистра. Он не позаботился даже подготовить преемника себе, так что на его кафедру Совет вынужден был избрать специалиста по канонике, а не по расколу. Да и сам Н. И-ч не особенно жаловал работников с претензиями на науку. Мне известен случай, когда он прямо заявлял таковым о своем нежелании или даже непривычке (и неумении?!) руководить таковыми и рекомендовал других профессоров. Случай этот был со студентом 44-го курса, 1885 – 1889 гг., после двадцатилетнего уже преподавания дисциплины. – А в громадном списке напечатанных произведений самого Н. И-ча не видится ни одной научной работы, – все – беллетристика и журналистика, газетные статейки и под. – Даже его «Материалы» и другие издания едва ли отличаются научностью. Я – профан в этой области. Но сужу по тому, что в мое время эти материалы переписывались, за крайне малую цену, бедными студентами, без всякой подготовки к этому делу, только для заработка: часто не разбирали оригинала, обращались к товарищами тоже не подготовленным, в конце концов писалось, что приходило в голову, наобум. Не знаю как издавались материалы потом, но первые томы издания моих студенческих годов требуют тщательной проверки. Считаю должным сообщить один характерный случай, касающийся лично меня, когда Н. И-ч был уже в отставке, а я приближался к 25-летию профессоры. Н. И-чу были доставлены из Константинополя через Нелидова, из какого-то архива (патриаршего или султанского – не знаю), письменные документы, касающиеся первоиерарха старообрядческого Амвросия – на новогреческом языке. Н. И-ч, кроме русского, не знал никакого языка, а тем менее – новогреческий. Перевод был сделан мной и напечатан в Братском слове, не помню года. И что же? – Ни гонорара, ни даже

упоминания обо мне. Замечу, что я так мало интересовался тогда, как и всегда вообще, этим предметом, что не видал в печати моего перевода и не проверял. Может быть Н. И-ч нашел нужным, в миссионерских целях, изменять и поправлять перевод, – этого. не знаю.

Полнейшую во всех отношениях противоположность Н. И. Субботину предоставлял Евгений Евсигнеевич Голубинский. «Все наоборот», – даже художнику нарочно не выдумать более эффектного контраста-до мелочей, до курьеза. По внешности: «не ладно скроен, да прочно сшит»,- приземистый, мускулистый, неуклюжий в движениях и жестах, с рыжеватую небольшой бородой и остриженной под гребенку (как тогда говорили, когда еще не было машинок для стрижки с разными номерами) довольно увесистой головой. Во время моего пребывания на первом курсе Е. Е-ч был в заграничной командировке – в Палестине, на Афоне и в славянских странах. Я посещал его, очень редко, уже на следующих курсах, когда интерес к лекциям и лекторам уже ослабел и сменился личными делами. Да и сам лектор и лекции ни малейшей охоты к слушанию не вызывали. Ясно помню первое впечатление. Является вышеописанный приземисто-коренастый человек в аудитории, – в очках, поношенном вицмундире и с большим портфелем под правой мышкой, – озирается по сторонам, как будто попал не туда, куда надо, или не знает, куда,-какой-то торопливою и неравномерной походкой подходит к столику, почему-то стоявшему рядом с внушительного вида и солидных размеров кафедрами, – как-то суетливо садится за столик и кладет на него портфель. Потом вынимает большущую рукописную тетрадь, кладет ее перед собой, вынимает из заднего кармана белый платок, снимает очки, протирает, наклоняется к тетради, надевает очки, опять наклоняется, поднимает очки на лоб, проводить рукой по стриженной щетине головы, чешет затылок: все торопливо, неуклюже, нервозно. Также торопливо, костромской скороговоркой, нескладно, путаясь в периодах, уснащая речь постоянными присловиями: того, как его и под., – начинает говорить что то о путешествиях в Россию Ап. Андрея и Антония Римлянина, критиковать сказания о них... Вообще Е. Е. читал лекции совсем не по-профессорски – ни по внешности, ни по дикции, ни по стилю, ни по содержанию: во всем суетливость, как бы неряшливость, пожалуй – беспорядочность, отсутствие гармонии и ритма – полная, так сказать, антихудожественность. Речь тяжелая, нудная, путаная. У него не было выработанного языка, и он, по-видимому, не мог говорить и писать так свободно, как пианист играет на клавишах инструмента. Он мыслил и думал фактами, а слова, каждый раз, подбирал с трудом, придумывал их,

как неопытный музыкант разучивает новую пьесу. Речь его не лилась рекою, но тащилась как тяжелый воз ломовиком. Я посещал аудиторию Е. Е-ча еще раза два-три. Впечатление то же: как будто профессор сидел дома за столом, погруженный в ученые справки, – и неожиданно вспомнил, что ему надо идти на лекции, – наскоро схватил лежавшую на столе тетрадь и побежал в аудиторию с тем, что попало под руки, не заботясь о том, что и как читать. Вообще: Е. Е-ч не профессор, читающий лекции в аудитории, а кабинетный ученый работник, читающий и пишущий фолианты. Для характеристики впечатления, какое производит Е. Е-ч на студентов, может служить то, что его обычно называли не по имени и отчеству и не по фамилии, но «Евсюха», выражая его неуклюжесть и медведеподобность. Из позднейшего моего знакомства с Е. Е-м я вынес впечатление, что он даже нарочно не заботился об отделе лекций для аудитории, не желал иметь много слушателей, презрительно отзывался о литературных краснобаях, называл их «прохвостами». Даже свою публичную актовую речь он не стал читать сам, а поручил проф. И. Н. Корсунскому. У такого лектора, конечно, не было обилия слушателей, и сам он был очень этим доволен. Помню: при инспекторе Антонии Коржавине и ректоре Христофоре Смирнове стали силком загонять студентов в аудиторию. Выхожу однажды из аудитории в коридор, а перед аудиторией инспектор, помощники, служителя. Оказалось, что аудитория была арестована для проверки слушателей: их выпускали из аудитории по одному и отмечали. Точь-в-точь – контроль железнодорожных билетов. Е. Е-ч энергично выражал свое неудовольствие на такую меру насильственной загонки студентов в аудиторию, как скотов в хлева или стойла, – бранился, что необычная толпа слушателей мешает ему спокойно читать лекции, – и успокоился только тогда, когда вскоре, за выбытием инспектора на ректуру Вифанской семинарии, эти гонки прекратились. Вообще Е. Е-ч лекций и аудитории не любил и нередко говаривал, что если бы дали приличную пенсию, он немедленно бы оставил службу в Академии, что и сделал в 1895-м году. Разговор Е. Е-ча был так же неуклюж, резок, обрывист. «Прохвост, дурак, пройдоха, подхалим, прихвостень»: такими и подобными словечками он не стеснялся обзывать даже тех из своих сослуживцев, кого он считал людьми хорошими и достойными. Поэтому, в большинстве, такие отзывы казались безобидными и не сопровождались бурными столкновениями.

Но к некоторым немногим лицам Е. Е-ч имел заметное нерасположение и не мог говорить о них без раздражения и равнодушно, например, почему-то об Иване Даниловиче Мансветове и особенно о Н. И.

Субботине.

Впрочем, как в домашней жизни, так и во внешних отношениях своих, Е. Е-ч находился под влиянием других лиц. Подобно всем увлеченным чем-либо он, вне своего увлечения, был полный ребенок, нуждавшийся в няньках. Дома такою нянькою была для него преданная и верная его прислуга – Арина. А вовне им правил его товарищ по академии П. И. Горский, коего глазами он смотрел на все и на всех: симпатии и антипатии П. И-ча были и у Е. Е-ча. Считаю нужным отметить эту мелочь ввиду того, что Е. Е-ч оставил свои воспоминания, и при объективной их оценке необходимо учитывать и этот общий коэффициент.

Научная добросовестность Е. Е-ча доходила до щепетильности. Вот пример, совершенно противопологающий Е. Е-ча Субботину. Под конец своей жизни он работал над канонизацией святых и издал известный труд свой по этому предмету в 1903 г. В библиотеку нашей академии было пожертвовано большое собрание житий позднейших греческих святых на новогреческом языке. Е. Е-ч хотя и сам знал новогреческий язык, но при издании приложенных к некоторым житиям патриарших грамот в греческих подлинниках и русском переводе, он, не полагаясь на себя, обратился за содействием ко мне и счел нужным даже о такой незначительной услуге упомянуть в своей книге. Характерный контраст двух знаменитостей Московской Академии!

Но вообще Е. Е-ч любил работать один, без помехи и посторонних содействий. И это отсутствие, так сказать, академической соборности в деле науки и эгоистичная самоограниченность были научно-академическим грехом подвижника-анахорета науки.

При своей обширной учености и научной опытности Е. Е-ч мог бы в нашей академии создать большую школу историков русской церкви, – гораздо большую и плодотворнейшую, чем создал А. П. Лебедев для общецерковной истории. Но Е. Е-ч не любил развлекать свою ученую аскезу возней с кандидатами и, особенно, магистрами. Правда, от кандидатов он не отказывался. Но ему писали большей частью только те студенты, что избегали дисциплин, требовавших языкознания, и желали отделаться работой по казенной необходимости. И сам Е. Е-ч не любил, когда его отрывали от дела посетители с расспросами по предмету диссертаций. По этому поводу составились даже анекдоты. Мой товарищ, С. И. Кедров, бывший преподаватель Московской Семинарии, занимавший первое место на церковно- историческом отделении, написал Е. Е-чу очень дельную, по рукописным материалам лаврской библиотеки, работу об Авраамии Палицыне. Е. Е-ч очень ее одобрил. Но когда, на 4-м курсе,

Кедров обратился к Е. Е-чу с предложением о магистерстве, то встретил такой прием, что на всю жизнь потерял охоту к своему магистерству. Этот скромный, благодушный, кроткий и милый юноша был сам не свой: бегал, горячился, плевался, бранился и пр. Так и не получил степени, хотя и напечатал свою работу. Впоследствии составилось убеждение, что у Е. Е-ча получить магистра можно было только силком, против желания профессора. Благодаря такому отношению профессора к своим кандидатам, немного было желающих работать по такой важной, интересной и плодотворной дисциплине, как русская церковная история. К Е. Е-чу, как я сказал уже, отбирались большей частью писатели слабосильные, не мечтавшие о научной карьере и удовлетворявшиеся кандидатским дипломом. Вот почему за 33 с лишком года профессуры по русской церковной истории и 24 ½ из них при новом уставе, Е. Е-ч даль, если не ошибаюсь, не более пяти магистров, – и тех, кажется, вопреки своему желанию, по крайней мере – большинство.

Этому содействовало и общее настроение академии нашего времени. По каким-то, непонятным мне доселе, причинам ценилось все чужое, иностранное, западноевропейское, греческое, латинское... и, в конце концов, малоплодное. А все русское и плодотворное казалось слишком простым, легким, общедоступным... Наиболее сильные работники предпочитали что-нибудь потруднее и шли к профессорам древней и новой истории церкви, патристики, философских дисциплин, священного писания и пр. Странное явление! Студенты охотно трудились там, где могли быть только рабами и избегали работать в тех областях, где открывалась возможность быть полными хозяевами. Этот непонятный, тяжелый и обидный рок тяготеет над Академией и до днесь! В чем тут суть, не знаю. Во всяком случае не в том, в чем указал Е. Е-ч, что «нация наша не высокого достоинства». Самое это явление доказывает противное: отсутствие тупого самодовольства и широту русского духа. Скорее тут сказывается отсутствие школы, ребяческая переоценка своих сил, – юношеская неопытность и незнание тех непреборимых трудностей, с какими приходится встречаться молодому ученому при дальнейшей специализации работы по общенародным европейским дисциплинам. Это – грех всей школы, а не одних только профессоров и студентов.

Замечанием этим, по моему мнению, объясняется очень многое в научной истории Академии. И, между прочим, например, то, что такой дельный, имевший широкую научную подготовку, проницательный ум и большую трудоспособность, профессор, как Димитрий Феодорович Касицын, не оставил, можно сказать, заметного следа в научной истории

нашей Академии. Напечатанной им магистерской о ересь и расколах первохристианских исчерпывается его учено-литературная деятельность, ограничивавшаяся газетно-журнальной публицистикой.

Д. Ф-ч был профессором новой церковной истории.

Малого роста, – но толстый, а скорее мускулисто-сухощавый, соразмерно сложенный, – он однакож, по доселе для меня необъяснимой причине, оставил во мне общее впечатление шаровидности. Небольшая круглая голова с продолговатыми волосами под русскую скобку, круглое бритое лицо с румянцем, голубыми глазами, маленьким носом и круглым подбородком, походка скорая крупными шагами, жесты и размахи руками, нервозность во всех движениях: общий вид – немецкого пастора или комического дядюшки.

Для лекций он умел выбирать самый интересный и так сказать типичный материал, нередко со смешным оттенком, вызывавшим дружные взрывы хохота. Произношение редкое, отчетливое, каждое слово отчеканивалось в голове слушателя и легко записывалось в тетради. Голос басистый и зычный, но вдруг странным образом пропадавший и переходивший в едва слышный шепот. По этому поводу студенты острили, произнося во фразе «старый марк-граф вскричал» первые два слова звучным басом, а «вскричал» – шепотом. Лекции Касицына, как и всех своих профессоров, историки посещали охотно. Мне пришлось быть на двух – трех лекциях. Лектор читал не по тетради, а по отдельным листкам, вроде карточек, беря из корок то один, то другой листок. Говорили, что он усвоил этот обычай во время своего заграничного путешествия у западных профессоров, пишущих основной материал лекций на таких карточках, а потом тасующих их, смотря по начертанному для данного семестра плану. Он излагал Письма темных людей и Похвалу глупости Эразма – предметы чрезвычайно интересные и захватывающее – с явным сочувствием к реформации и осуждением средневекового католицизма. Но впоследствии он переменял настроение в обратное, ярко отразившееся на его актовой речи и в полемических статейках в Душеполезном Чтении. Перед оставлением академической службы Д. Ф-ча я находился с ним в довольно близких отношениях. Он сообщил мне, что в детстве и юношестве он отличался необыкновенной религиозностью, едва ли не доходившей до экстаичности. Потом это настроение сменилось скептицизмом и рационализмом. Но под старость религиозность возродилась и уже не оставляла его до смерти в сане московского протоиерея. Перед принятием священного сана Д. Ф-ч колебался и смущался перед высотой сана и, особенно, перед способом получения средств к существованию. На это я

говорил ему, что получение средств к существованию (Д. Ф-ч вышел в отставку со старой ничтожной пенсией) в священном сане по существу ничем не отличается от казенного жалования, почерпаемого из того же источника, только не непосредственно, – и что совесть профессора духовной или церковной академии не может допускать ничего такого, что не терпимо для совести служителя Церкви в священном сане. Наверное и сам Д. Ф-ч прежде меня и лучше сознавал все это.

Д. Ф-ч основательно знал католичество и протестантство в первоисточниках, обладал превосходным знанием трех – четырех новейших языков, изучал на них новую церковную историю Запада, тщательно следил за литературой своего предмета и выписывал все важные новинки. Как внимательно и заботливо относился Д. Ф-ч к работавшим ему молодым ученым, об этом свидетельствуют в своих воспоминаниях: проф. В. А. Соколов и особенно архиеп. Варшавский Николай (М. З. Зиоров). Но, по причине слабой лингвистической подготовки, особенно по новым языкам, на историческом отделении отбиралось мало охотников писать Д. Ф-чу магистерские диссертации. Мне известны пятеро: Коржавин, Учение об оправдании в символических книгах лютеран, – Маргаритов, Лютеранское учение в его историческом развитии при жизни Лютера, – Соколов И. Отношение протестантизма к России в 16 – 17 веках, – проф. В. А. Соколов, Реформация в Англии, – и М. П. Фивейский, не прошедшая академической цензуры диссертация об Ирвинге.

Не со всеми коллегами Д. Ф-ч находился в ладу. Явная и сильная вражда была у него с его свояком А. П. Лебедевым. Сообщаю об этом опять на тот случай, если они оставили свои записки.

На церковно-практическом отделении старейшим профессором был Егор Васильевич Амфитеатров, второй магистр XIII курса Петроградской Духовной Академии, единственный профессор не из питомцев нашей Академии, занимавший кафедру словесности и истории литературы. Старичок небольшого роста, худенький, бритый, с порыжелым от ветхости париком шатена, – он производил впечатления повидавшего прежних времен. В аудиторию и на кафедру являлся всегда с черной, покрытой блестящим лаком, табакеркой и фуляровым темно-красным платком в левой руке. Лекция предварялась зарядом табаку в нос, сморканием и чисткою носа и губ фуляром. Затем начиналось чтение по тетрадке из синей и толстой старинной бумаги, – редкое, вмятое, приятным старческим баском, спокойное, без всякого возбуждения, повышений и понижений, ровное, с нервным покачиванием головы вправо и влево и

изредка подергиванием верхней губы. Так, как его разговор ничем не отличался от лекций, то надо думать, что его дикция зависела от природного устройства его голосовых органов. Несмотря на монотонность дикции, все слышанные мной лекции Е. В-ча производили на меня сильное впечатление. В этом отношении в ряд с ними я могу поставить только слово Михаила при погребании А. В. Горского и речь Ключевского на академическом акте по случаю 500-летия по смерти препод. Сергия. Язык отрывистый, яркий, чистый, можно сказать образцовый до хрестоматийности. Впечатление усиливалось табачными зарядами носа перед наиболее эффектными местами. Но главную силу лекциям давало их увлекательное содержание, умение говорить только самое существенное, типичное. Первая, слышанная мною, лекция была о чувстве таинственного. Эстетико-психологическая теория в ней пояснялась впечатлениями от векового дремучего бора, с выдержками из «Лесного царя» и др. Припоминаю превосходные захватывающие анализы художественной стороны Илиады не только во внешних описаниях, но и в душевных движениях героев, особенно Гектора при его прощании с супругой и малолетним сыном. Из русской литературы я с непередаваемым восторгом слушал характеристики Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Тургенева. К сожалению увлеченный Джордано Бруно, а потом Филоном, я не имел досуга выслушать весь курс Е. В-ча по иностранной и русской литературе. Его постоянные слушатели и обязательные ученики говорили, что лекции Е. В-ча по эстетике тяжелы и мало вразумительны. Напротив, лекции по литературе пользовались всеобщим одобрением. Впоследствии, когда Е. В-ч был уже частным и сверхштатным преподавателем на церковно-практическом отделении, его, при конце года, все курсы приглашали для чтения одной или двух заключительно-прощальных лекций по русской литературе. Остается горько пожалеть о судьбе этих синих, из толстой бумаги, тетрадей: где они и почему не печатаются? – Какое-то недоразумение вышло с начавшимися было печататься в Вере и Разуме лекциями по эстетике. Пусть!.. Хотя кем проверялось это недоразумение?.. Но я говорю о лекциях по литературе иностранной (Гомер, Данте, Сервантес др.), – пусть даже лекции не оригинальные, а компилятивные или переводные, – все же эти лекции были образцовыми по русскому языку и стилю, и должны иметь значение для истории русского литературного языка. А лекции по русской литературе, сколько могу судить, как профан в этой области, – носят печать глубокой оригинальности и образцового стиля. Ведь на этих лекциях воспитывались духовные юноши, становившиеся пастырями, учителями, проповедниками,

писателями и преподавателями школ, – в течение около 47 лет (с 1839-го по 1886 г.). Для истории духовных школ это не могло остаться без значения. Полезны были бы эти лекции особенно теперь, когда всякого рода кривлянье и фиглярство в стихах и прозе нахально ползут на пьедесталы Пушкина, Тургенева и др. классиков.

В студенчестве, не без внушения профессоров конечно, Е. В-ч считался гордецом и надменным. Говорили, что студентам он совсем не подает руки, а младших профессор удостаивает только одного или двух пальцев. Мнение это установилось традиционным путем и нашему курсу было передано от старших. Повод к такому мнению мог быть дан тем, что в качестве секретаря дореформенной Академии, особенно в ректорство увлеченного наукой А. В. Горского, Е. В-ч заправлял делами не только Академии, но и подчиненных ей семинарий Московского округа. А в мое время, как не исполнивший требование академического устава 1870-го года о срочном представлении и, защите докторской диссертации. Е. В-ч был уже на положении сверхштатного преподавателя. Но, насколько знал я сам Е. В-ча, думаю объяснить установившееся мнение о его гордыне простым недоразумением: его манерой держать себя прямо, медленной торжественной походкой, всегда серьезной, как бы властно-начальственной, речью, – что все зависело не от гордыни, а от природного устройства его корпуса и голосовых органов. А о двух-одном пальце надо сказать, что левая рука у него всегда была занята табакеркою и фуляром, а в трех первых пальцах правой руки постоянно пребывал табачный заряд для носа. Таким образом, у него оставались свободными: два пальца правой руки и один или два, смотря по положению табакерки и фуляра, пальца левой. Кроме того его мизинцы, от старческого склероза и хирагры, не обладали достаточной подвижностью. Как бы то ни было, но когда я был младшим преподавателем Академии, никакой надменности или гордыни я не замечал в Егоре Васильевиче, ни по отношению к себе, ни в отношении других младших преподавателей.

Литературным трудам Е. В-ч не отдавал себя. Мне известны две статьи его в прибавлениях к творениям святых отцов (5. 25): «Общий характер священной поэзии евреев», и «О существе и свойствах художественной деятельности». Но суровая до придиричивости критика статей со стороны митрополита Филарета, принимавшего тогда ближайшее участие в редакторстве академического журнала, побудила, будто бы, самолюбивого профессора бросить авторское перо и никогда более уже не приниматься за литературный труд. Впрочем, для всестороннего суждения об этом случае надо иметь в виду, что сложное и

тяжелое дело тогдашнего академического секретарства едва ли могло располагать к литературному труду, не давая ни необходимой для него сосредоточенности, ни нужного досуга.

Александр Федорович Лавров, впоследствии Архиепископ Литовский Алексей, профессор Церковного Права. Величественно-монументальный, он не сидел, а восседал на кафедре, – не читал и не говорил, а вещал и изрекал торжественно-зычным басом, наподобие каменной статуи в Дон Жуане. На пюпитре возлежал полный исписанный лист, со множеством всякого рода приклеек по краям, в виде небольших клочков с оборванными краями, квадратных четвертинок, продолговатых осьмушек, длинных полос, в несколько раз сложенных и свиткообразно свернутых. При повороте листа все это дрожало, трепыхалось, разворачивалось. Лектор переводил глаза с середины листа вверх, вниз, направо, налево, разворачивал приклейки, свертывал, раскладывал, складывал. Содержание – справочного характера для какого-то канонического казуса или правила, начиная с Библии, правил Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, исторических примеров Восточных и Западных Церквей и кончая справками из Русской истории, Уставом Духовных Консистолий и указами Святейшего Правительствующего Синода. Все это очень обстоятельно, научно, полно... но бездейственно и мертво, – дельная статья для ученой энциклопедии, но неживая лекция. Идти на следовавшую потом вторую лекцию у меня уже не хватило охоты. Да и ученики А. Ф.-ча, посещали его лекции не совсем исправно.

Но если как лектор А. Ф. не пользовался у студентов популярностью, то как ученый и как руководитель учеными студенческими работами (кандидатскими и магистерскими сочинениями) он был выдающеюся силою академической. Знаток языков: латинского, греческого (последний он восемь лет преподавал, с 1862 по 1870 годы, в качестве добавочного предмета) и немецкого, А. Ф. превосходно знал, как новейшую литературу, так и первоисточники своей науки, – и охотно делился своими знаниями и опытностью с работавшими ему студентами, каковых в мое время было очень большое число, едва ли всегда не большая половина церковно-практического отделения. Его внимательность к своим писателям доходила чуть не до ухаживания за ними. Редкий день не появлялся в академических номерах А. Ф. с немецкой брошюрой, новенькой книгой или старым фолиантом для того или другого работника ему. Всех своих знакомых студентов А. Ф. называл по имени и отчеству и, при встрече, чуть не первый, уже издали, снимал шляпу. Это многих смущало и отзывалось приторною льстивостью. Все писатели его считали

обязанностью ходить к нему на чай и беседовать не только по науке, но и о студенческих делах вообще. Другие студенты смотрели на это со свойственной общежительной молодежи и, конечно, мало основательной подозрительностью. Не только у студентов, но, как потом узнал я, и у профессоров составилось мнение, что А. Ф. и его супруга знали все мелочи жизни не только каждого студента, но и каждого профессора. Мнение, вероятно не основательное и наверно преувеличенное, составившееся, кажется, под влиянием уединенной жизни супругов, после смерти их единственной дочери. По моим наблюдениям, корпорация не любила А. Ф-ча и считала его неискренним. Единственным другом его был Михаил, его однокурсник.

В течении четырех лет мне пришлось только однажды иметь личное отношение к нему, по случаю заданной мне инспектором проповеди в 40-й день по кончине А. В. Горского, совпавший с годовую памятью митрополита Филарета, о чем я говорил ранее. Я приходил к А. Ф-чу за проповедью, бывшей у него па цензуре. В прихожей меня встретили две девочки, сестры, однолетки, лишившиеся матери и взятые А. Ф-ем и его супругою – бездетными – на воспитание. Девочки бойкие, веселые. Но, по тогдашнему настроению, мне было не до детских идиллий. Долго пришлось дожидаться, пока А. Ф. спустился с вышки в халате ко мне и увел меня в столовую, где накрыть был чай, и меня угостил им. Не помню, была ли тут супруга А. Ф-ча и девочки. А. Ф. спрашивал меня о кандидатском, какая тема, кому пишу, имею ли подлинник Филона и труден ли он. Вероятно заметив мою неразговорчивость, А. Ф. скоро отпустил меня, вручив пакет с проповедью для передачи Виктору Дим. Кудрявцеву, исполнявшему должность ректора Академии. О самой проповеди – ни слова. Очевидно, она очень не по вкусу пришлась А. Ф-чу, ранее преподававшему церковное красноречие и не нашедшему такового в моей проповеди. В прихожей опять появились сестры – сиротинки, и я опять на них нуль внимания. Замечу, что у меня было казенное, еще на 1-м курсе сшитое, кургузенькое и обтрепанное пальтишко плохого коричневого драпа, и я очень стеснялся им. Тогда А. Ф-ч, стоявший в дверях перед залом, своим серьезно-зычным басом сказал мне: «Обратите, Митрофан Дмитриевич, ваше благосклонное внимание на девочек, они хотят поздороваться с вами». Неуклюже и по-бурсацки я, не издав, ни единого звука, сделал почтение с ними и поскорее дралка из квартиры. Надо заметить, что А. Ф-ч говорил, со мною и видел меня в первый раз, и уже называл по имени и отчеству. Потом, когда я был уже приват-доцентом, а А. Ф-ч епископом Алексием, викарием Московским,

присутствовавшим на диспуте Н. И. Розанова (о Евсевие Памфиле), после диспута сказал мне: «Ну, я, М. Д., не желал бы попасть в ваши лапы». Наконец, когда я поднес преосв. Алексею свою магистерскую диссертацию о Филоне на Саввином подворье, он, в присутствии известного протоиерея П. А. Смирнова, взял книгу, поцеловал ее и меня, поблагодарил и обращаясь к П. А-чу, сказал: «Вот какие диссертации пишут теперь», или что-то в этом роде.

Литературная производительность А. Ф-ча была не велика, но сильна: она вся почти исчерпывается сравнительно небольшими работами по поводу предполагавшейся тогда реформы церковного суда, но единственно благодаря только этим работам реформа не была осуществлена, несмотря на сильных покровителей ее – графа Толстого, Макария Булгакова и некоторых ученых авторитетов. Свидетельством о глубокой, хотя и подспудной, учености его может служить небольшая справка его об «'Εξάδέλφῃ» извлеченная проф. И. Н. Корсунским из академического архива и напечатанная по смерти автора в Богословском Вестнике, – случайная и для печати автором не предназначавшаяся. Но для учеников А. Ф-ча его незаурядная ученость была ясно видна в его руководстве их диссертациями. В течение только первых четырех курсов нового устава (29 – 32 с 1874 по 1877 годы), под руководством Лаврова были составлены кандидатские сочинения, ставшие потом магистерскими диссертациями: проф. Кипарисова, О свободе совести, – проф. Заозерского, Церковный суд в первые века христианства, – свящ. Ильинского, Синтагма Властаря, – Перова, Епархиальные учреждения русской церкви в 16 и 17 веках, – и еще некоторые, оставшиеся кандидатскими, но могшие быть магистерскими, Напр. Мемнонова 31-го курса и др. Если бы профессор Лавров не стал Московским викарием, а потом Литовским Архиепископом Алексием, – смело можно утверждать, – он обогатил бы русскую канонику дельными работами – своими и своих учеников. Надо пожалеть и о его лекциях, хотя и не пригодных для аудитории, но весьма полезных для науки. Что случилось с ними?

Церковную археологию и литургику преподавал Иван Данилович Мансветов. Высокий, стройный брюнет с большими серыми глазами и часто с нежным румянцем на щеках. Он казался мне настоящим красавцем. Страдавший недугом легких, он был чрезвычайно раздражителен, и у него происходили частые столкновения со студентами по поводу лекций и экзаменов. Дело в том, что в Академии царили: философия с Платоном, Кантом и др., богословие с Василием Великим, Григорием Богословом и др. Писание, история – церковная всеобщая и

русская, гражданская русская, литература иностранная и русская, – а литургия и церковная археология рассматривались как предметы побочные, неважные и неинтересные. Напротив, сам профессор, как и большинство археологов, склонен был смотреть на свои дисциплины, едва ли как не на краеугольный камень всего научного здания Академии. Эта переоценка дисциплины о тонкостях византийского стиля, его отличия от классического, – романском, готическом, древнерусском и др. стилях, об особенностях древнерусского богослужения и под. по сравнению с Гомерами, Платонами, Ветхим и Новым Заветами, отцами Церкви, Вселенскими Соборами, Кантами и пр. представлялась студентам делом субъективизма и личного увлечения узкого специалиста, – ответного сочувствия во всяком случае не вызывало. Кроме того И. Д-ч имел странную манеру вычитывать на лекциях целые листы выдержек на латинском и греческом языках. Я попал именно на такую лекцию о стилях и, хотя имел порядочную лингвистическую подготовку, просидел всю лекцию, ничего не понимая. Не удивительно, что, приезжая из Москвы, И. Д-ч иногда находил в аудитории одного только дежурного студента. Раздраженный лектор быстро возвращался в профессорскую комнату, а дежурный бежал в номер с предупреждением слушателей. Собиралось приличное число их, начинались переговоры и уговоры не давать делу официального движения и кончалось успокоением лектора и благополучным проведением лекций. Наверное эти казусы с большим вредом отражались на здоровье И. Д-ча и ускоряли роковую развязку. Такого же рода были и экзаменационные билеты, – по поводу их происходили возбужденные переговоры студентов с профессором, кончавшиеся тем, что многие, если не все, шли на экзамен с *tabula rasa* в голове и тем заставляли сильно волноваться раздражительного профессора.

В совершеннейшей противоположности с лекциями И. Д-ча стоят его многочисленные литературные работы. Большинство их, особенно его докторская диссертация о церковном уставе, отличаются талантливостью, свежестью, оригинальностью и занимательностью. Каким образом такой интересный писатель в печати мог быть таким невыносимым лектором в аудитории, доселе для меня остается вопросом. Говорю только о моем времени.

Пастырское богословие и гомилетику читал прот. Филарет Александрович Сергиевский. О нем ничего не могу прибавить к ранее сказанному о моей проповеди на Сретение и о проповеди моего товарища свящ. Архангельского. Как не представивший в срок требовавшейся новым

уставом докторской диссертации, он оставил Академию и перешел на должность ректора Вифанской семинарии. По его ходатайству я перешел из Тамбовской семинарии в Вифанскую на греческий язык и во время службы здесь, особенно на экзаменах, убедился в превосходном знании им греческого классического языка. Некоторое время он преподавал этот язык и в Академии.

Кафедру гомиластики и пастырского богословия, после Сергиевского, занял Василий Федорович Кипарисов. Но он только начал чтение лекций, и я ничего не могу о нем сообщить, кроме вышесообщенного о моей проповеди на Покров.

К церковно-практическому отделению административно причислялись и языки – древние и новые. О профессоре по греческому языку С. Е. Смирнове мной подробно сказано в Юбилейном Сборнике.

А о профессоре латинского языка Петре Ивановиче Цветкове могу сообщить только то, что он превосходно знал свой предмет. Товарищи мои обращали внимание на высокопарную торжественность его дикции, не соответствовавшую спокойному содержанию как сообщавшихся самим лектором сведений, так и читавшихся и переводившихся выдержек из латинских авторов.

Были и еще, доселе здравствующие, хотя теперь уже и престарелые, но тогда только начинавшие, профессора.

Но... если о мертвых я держусь правила говорить только правду (т. е. по моему личному мнению), то о живых предпочитаю я не говорить ничего, ибо хорошее может показаться лестью, а плохое – личными счетами. Притом, в то время они еще только начинали свою учено-профессорскую деятельность и не имели определившегося лика.

Все почти внелекционное время в первые два года отдавалось составлению проповеди и трех сочинений в год: для восьми месяцев (сентябрь – апрель), выключая каникулы святочные масляничные и первой недели поста – для говения, страстной тоже для говения и пасхальной недель, – всего полтора месяца, – этих работ было вполне достаточно. Ведь сочинения писались на темы серьезные и широкие, с иноязычными большей частью источниками или же хотя и русским, но обширным материалом, некоторые занимались еще изучением иностранных языков. Третий год весь уходил на кандидатскую диссертацию. В течении четвертого года работали уже по желанию: над магистерскими сочинениями, подготовкой к магистранскому экзамену, изучением специальных предметов, иные давали уроки – частные и в городской школе. На постороннее чтение, по крайней мере у меня, времени не было:

несмотря на все усилия припомнить читанные мной книги, могу назвать только: сочинения Хомякова и записки Пэр-Ла-Шеза на французском языке, и то во время летних каникул, (брал у помещика), Фюстель-де-Куланжа, Дреппэра, автобиографию протопопа Аввакума, проповеди Иоанна Смоленского. Газеты Московские Ведомости – читал только во время летних каникул, брал у того же помещика. Только на четвертом году, когда происходила война с Турцией, я в складчину с другими, получал от разносчика – крещеного еврея – Голос для просмотра. Затем, – не помню, где брал, – я читал Анну Каренину в Русском Вестнике, но не до конца, – с окончанием романа я познакомился поздно, когда был уже пожилым профессором. Вот, кажется, и весь багаж мной прочитанного постороннего материала за все четырехлетие студенчества. Едва ли много опускаю я по забвению.

Никаких научно-литературных кружков, обществ, рефератов и под. Правда, в первую половину первого года в нашем курсе составилась было кружок, но совсем особого рода, – из нескольких человек, в том числе и меня, не обладавших ни голосовыми средствами, ни умением, но одержимых превеликим рвением к пению, под наименованием «Бременский хор». Откуда получилось такое название, не знаю: кажется, от неудачно выступавшего тогда в России какого-то хора или оркестра из Бремена. Выбран был регент – умерший наставником Московской семинарии А. П. Десницкий, прилежно занимавшийся перепиской нот и изучавший их, но не обладавший никакими музыкальными способностями. В помощники ему выбрали настоящего регента академического хора П. В. Тихомирова: при его-то главным образом содействии мы разучивали разные пьесы – духовные, светские, малороссийские. Название регенту дали «менаццеах», из еврейского надписания некоторых псалмов ламенаццеах, обычно и в русск. Библ. переводимого «начальнику хора» (Слав. по Семидесяти «в конец», Акила: «победотворцу», Иероним: «победителю», Феодотион: «в победу», Симмах: «победный», Таргум: «в славу»), Упражнения происходили после ужина, в нашем номере. Но к этой задаче вскоре присоединились и другие. Решено было каждому «бременцу» после ужина, по череду непременно рассказать один анекдот, и для записи этих анекдотов заведена толстая в лист и переплетенная книга. Особым остроумием и неисчерпаемостью отличался ходивший к нам из Лаврской башни товарищ Дим. Евг. Вознесенский, подпавший потом неумеренному потреблению водки и окончательно спившемуся уже на службе. Кто не мог рассказать анекдота или рассказывал анекдот, по общему приговору, плохой, с того

присуждали штраф: полбутылки или бутылку водки и на закуску – коровьей печенки, из съестной палатки на базарной площади, – а хлеб, соль, горчица и соленые огурцы брались на кухне безвозмездно. Об этом составлялся журнал, вместе с анекдотом вписывался в книгу и всеми бременцами подписывался. Потребление штрафа совершалось в «печуре» т. е. в каморке номерного служителя – Василия Ивановича, старого Николаевского инвалида. Служитель сей хотя и подозревался в шпионстве, и хотя эти подозрения сначала и возмущали многих, но потом все свыклись с этим не видя никаких воздействий со стороны инспектора. К анекдотистике потом присоединилось и шутовство литературное. Был среди бременцев один любитель стихотворства, обладавший некоторыми денежными ресурсами. Бременцы воспользовались слабостью товарища и сначала назначили со стихотворца угощение за слушание и оценку его произведений, о чем также составлялся журнал. Потом однажды учинили конкурс на стихотворение, под условием штрафа с побежденного. Нашелся стихотворцу один конкурент. В контраст протяженно-сложенному стихотворению нашего поэта, конкурент этот прочитал коротенькое, в 10 – 12 строк, стихотворение, но весьма поэтичное, стройное, музыкальное. Все, не исключая и самого стихотворца, признали превосходство за новоявленным поэтом. Составлен журнал, потреблен штраф в печуре Василия Ивановича. Во время пирушки стихотворец был невесел, поражение и неожиданная конкуренция видимо удручали его. Но в конце пирушки конкурент заявил, что он прочитал не свое стихотворение, а малоизвестное Пушкина или Лермонтова, не помню. Сообщение это хотя и неприятно изобличило невежество нас – судей, но обрадовало стихотворца и вполне примирило его с незаслуженным штрафом. Кончилась шутка к общему удовольствию. Но перед рождественскими каникулами настал печальный конец бременского общества. Инспекция объявила нам, что по каким-то доносам или по чему другому предстоит нам жандармский обыск и чтобы мы приготовились к этому. Возник вопрос о книге журналов бременского общества. У страха глаза велики. Стали думать об инспекции, могущей получить в руки письменные самосвидетельства наши о выпивках. А еще более смущал нас шуточный и не всегда приличный тон журналов. Кто-то заявил, что эти журналы не соответствуют солидности студентов духовной Академии. Решило предположение, что жандармы поймут шутовской тон журналов за шифр чего-либо другого, серьезного, политического. Толстый фолиант, уже более половины наполненный шутками, анекдотами и пр., в один морозный вечер постного дня был торжественно предан сожжению в

одной из печей, и на общую складчину совершена была поминальная тризна в печуре Николаевского инвалида Василия Ивановича. Жаль этого любопытнейшего памятника *Academiae historiae arcanae*. Так печально окончилось это единственное и недолгомесячное студенческое общество наше за все четырехлетие нашего курса. После этого печурный клуб на нашем курсе прекратил свое бытие. Общие выпивки ограничивались только «генеральными», по случаю произнесения проповедей и иногда именинными. Но, по своей нелюдимости, я участия в них не принимал, – во всяком случае не помню. Случаи, подобные бывшему со мной и Кедровым (описан мной в статье о С. К. Смирнове), составляли редкое исключение. Вообще наш курс в этом отношении отличался умеренностью. Злоупотреблять, кажется, один только упомянутый Вознесенский, получивший, если не ошибаюсь, на третьем году, такой внушительный нагоняй от инспектора – Зевса, что остепенился на все прочее время своего пребывания в академии. Но он жил не в академическом корпусе, а в Лаврской башне, где за недостатком академического помещения, помещены были взятые Лаврой на свое иждивение несколько человек нашего курса. Впоследствии он оказался неисправимым алкоголиком и умер от этого недуга. Вышел из нашего курса и еще один несчастный – И. А. Плаксин, вызванный на должность академического секретаря ректором еп. Христофором, а потом переправленный в секретари тверской консистории и скоро умерший. Но во все четырехлетие студенчества я не замечал в нем ни малейших задатков алкогольного недуга: это был скромный, выдержанный, всегда ровный и приличный студент и задушевный товарищ. Неумеренность и некорректность в этом отношении, как мне казалось, может быть и неверно, проявляли некоторые студенты старшего (29-го) курса – остаток дореформенной академии. Помню один случай, оставивший во мне гадливое впечатление: на первый день Пасхи компания пьянейших студентов этого курса, во главе с умершим уже И-м, буйно ворвалась в столовую с пением, под аккомпанемент балалайки, неприличных пародий на пасхальные ирмосы, причем первые слова и напев брались от ирмосов, а далее следовали дрянные пародии. Это гадкое воспоминание доселе портит мне настроение во время пасхальной утрени, почему и считаю нужными сообщить о нем в моих воспоминаниях – в целях педагогики. – Неумелое обращение с опасным возбудителем юношеского веселья стало появляться и на курсах, младших нашего. В бытность мою «старшим» в одном из номеров младшего курса мне пришлось не раз покривить душой перед инспектором, наперед меня и лучше меня и без меня знавшим все,

но выслушивавшим всегда и неизменно доклад о полном благобытии вверенного мне академической властью номера.

Каждый работал, изучал, думал особняком, сам по себе, не делясь ни с кем своими мыслями и планами; царил крайний индивидуализм в ученом деле.

За весьма редкими исключениями не замечалось особого увлечения сочинениями: работали, в большинстве, по казенной надобности. Припоминаются: Соколов П. И. о ветхозаветных писаниях в христианской церкви (Елеонскому), Кедров С. И. об Аврааме Палицыне (Голубинскому), Дьяченко Г. М., о Бунзене (Михаилу), Перов И. Ф. о епархиальных учреждениях русской церкви 16–17 веков, (Лаврову), Ильинский Н. И. о сиптагме Властаря (ему же) и нек. др.

Стол академический мне представлялся превосходным и количественно и качественно. Для правильной оценки этого представления моего может быть надо принять во внимание мою жизнь во время училищного и семинарского обучения. Вдвоем с братом мы содержались на полном иждивении родителя нашего, в точном смысле «полунищего» сельского священника. Нередко приходилось бывать в положении Некрасовского «странничка» и подпевать себе: «холодно, страничек, холодно! голодно, миленький, голодно!» А тут ежедневный обед из трех и ужин из двух блюд. Да каких блюд то?! – Сначала: суп с мясом, или рыбой – главизной, снятками, даже белоозерскими, или грибами, – потом: мясо или котлеты с протертым картофелем, или рыба жареная, а в заключение: макароны с сахаром, или пирожки с кишнецом, или каша гречневая с маслом, или клюквенный кисель с ситным, или сваренная в молоке с мукой и сахаром морковь. Преизобильно и превкусно! В праздники прибавлялся к обеду кисок пирога – кулебяка с начинкой. Уж и невозможно было всего осилить и некоторые брали пирог с собой – для чая. Вспоминаю вкусные блюда в сочевники, на первой и страстной неделях великого поста: рубленые грибы с квасом и сухим хреном, тертый картофель с подсолнечным маслом и луком, моченая вилоквая капуста с маслом и луком, клюквенный кисель с ситным. Вместо ужина перед днями причастия – в пятницу первой и среду страстной недель – выдавалась на руки пшеничная булка. Много ли найдется так называемых состоятельных людей, пользующихся таким столом. О выдающихся праздниках уже нечего и говорить – Покров (Академический храмовой праздник), Рождество Христово, Благовещение, Пасха, Вознесение. Тут бывали и поросята, и гуси, и индюшки, и стерляди, и осетрина, и арбузы с яблоками свежими и мочеными, и виноград. А на

масляной блины с маслом и луком и сметаной и снятками. Но ни вина ни пива не полагалось никогда. Только на ужине прощенного дня подавалась большая тарелка саговой каши с налитым в нее красным церковным вином. Были впрочем и недовольные столом, особенно постным. Попадались иногда неудачные миски с белужьими зебрами, имевшими вид темно-коричневых толстых волокон: их называли почему-то крокодиловой кожей или крокодилами. Многие не любили снятков, даже белоозерских, почему-то получивших название вифлеемских младенцев. Неодобрительно относились к пирожкам с кишнецом и макаронам. Но кашу любили все, а я – все. На наступающую неделю вперед обычно составлялось расписание кушаний и за рамкой вывешивалось в столовой для всеобщего сведения. Литературным и кулинарным шедевром этого расписания служил «бифштекс». Такое название носил обыкновенный картофельный суп с прибавлением к нему холодной рубленой котлетки из мяса. Блюдо это, очень вкусное и любимое студентами, всегда неизменно в скоромные дни подавалось за ужином по субботам. Также неопустительно являлся на эти ужины в столовую и инспектор, после всенощной. Зевсовидное начальство торжественно и медленно обходило длинные столы, с видимым удовольствием созерцая ряды молодежи, аппетитно уписывавшей во скулы вкусное блюдо. На это блюдо, по-видимому, и были рассчитаны посещения, или наоборот – блюда назначались ввиду этих посещений. Так можно думать потому, что в постные субботы, когда «бифштекс» отсутствовал в расписании, инспекторских посещений не бывало. Из-за этого «бифштекса» со мною случился курьез, когда я был уже преподавателем академии. Захотелось мне в Москве побаловаться обедом в хорошем ресторане. Иду в «Большую Московскую Гостиницу», беру меню и заказываю любимым студенческий «бифштекс». Но какое разочарование, когда мне подали кусок полусырого мяса с проступающей сукровицей... Фи, какая гадость! Мог съесть только поджаренный картофель и строганный хрен, а самую ценную часть блюда оставил в пользу ресторана. За то я узнал, что такое настоящий бифштекс, хотя о вкусовых свойствах его доселе не имею представления. – Для наблюдения за кухней и столом назначались по алфавиту дежурные студенты младшего курса, о составе и удовлетворительности стола они ежедневно докладывали по начальству и удостоверяли это собственноручным свидетельством в какой-то книге. Самое же наблюдение за кухней, сколько знаю, на деле не совершалось. Вообще столом, по крайней мере, официально, студенты были довольны. Припоминается только один случай, когда все курсы сговорились заявить о недоброкачественности

запаха от какого-то рыбного блюда. Для проверки делает экстренную экскурсию в столовую Инспектор. Преднамеренно ли, или же случайно, – вернее первое, – подходит инспектор к студенту предшествовавшего нашему курсу Н. И. Виноградову, уже и тогда (кажется, мы были па 3-м, а он на 4-м году) отличавшемся нелюдимостью и необычною наивностью. На вопрос инспектора он во всеуслышание заявил в столовой, что рыба очень хорошая. Инспектор удовольствовался этим ответом и торжественно вышел из столовой, своим видом как бы внушая, студентам, что заявление их – только каприз заевшихся мальчишек, тяготящихся церковным уставом о постах. Виноградов всего вероятнее ничего не знал о всеобщем соглашении, и рыба наверно не была очень уж плоха... но жестокая молодежь решила подвергнуть несчастного меланхолика херему. Это так подействовало на неуравновешенного психически юношу, что с тех пор он стал уже обнаруживать явные признаки душевной ненормальности и кончал год в академической больнице, где сменивший Страхова врач П. П. Аристархов и фельдшер советовали ему поскорее жениться. Расстройство это не воспрепятствовало цветущему как розан и скромному как девица юноше отпечатать свое кандидатское сочинение «О кончине мира» и даже составить и защитить магистерскую диссертацию «Притчи Господа. нашего И. Христа», – быть наставником в семинарии по греческому языку и даже мечтать о степени доктора богословия. Но... душевный недуг усилился, Н. И. должен был уйти в отставку на ничтожную пенсию и в едва не нищенском виде влачить поистине жалкое существование в Сергиевском Посаде – до предшествующего (1916) года, когда он окончил свою несчастную жизнь земную. – Едва ли не все магистры нашей академии на своих диспутах – коллоквиумах подвергались его странным возражениям, до самого последнего времени составлявшим как бы неизбежное *granum salis* магистерства.

У кого водились деньжата в кошельке, ухитрялись постное меню переводить на скоромное, при посредстве тогдашнего фельдшера или же прямо через повара.

На чай, сахар и булку выдавалось ежемесячно по 3 р. на студента. Так как многие, и я, утром не имели обычая заниматься едою, то этого пайка не только вполне хватало на чай и сахар, особенно при общинном ведении дела, но и на табак, даже на выпивку. У меня остаток шел главными образом на «сбитень». С этим напитком ходил к нам старый-престарый сбитенщик, помнивший разных архиереев и архимандритов, вышедших даже еще из Троицкой Семинарии. При приезде в Лавру, многие из, них обязательно посылали за стариком (имени не помню) и вспоминали

добрую старину за ароматным питьем. Много он порассказывал о них, но я, увлеченный тогда философскими абстрактами, несколько не ценил рассказную или сплетническую сторону истории и потому мало слушал рассказы болтливого сбитенщика, предпочитая его ароматический напиток. Варился он в особом, из красной меди и луженом самоваре, имевшем вид огромного чайника с трубой для горения углей посередине. Варился в этом чайнике мед, разведенный водой и сдобренный пряностями – корицей, гвоздикой и еще чем-то. Напиток превкусный, куда вкуснее теперешнего чая с сахаром не только вприкуску, но и в накладку. Одни употребляли сбитень в чистом виде, а другие, и я, любили подливать кипяченого молока. В том и другом случае непременно с мягким московским калачом. стакан сбитня с калачом стоил, если не ошибаюсь, копеек пять. Многие брезговали нечищеным самоваром, не мытыми стаканами, грязными вытиралками, руками, фартуком, овчинным с особым запахом полушубком, валяными сапогами и потертой шайкой торговца. Весь вообще старый сбитенщик был, надо признаться, необычно грязноват! Но... ведь дешево, вкусно, питательно! Ну, а насчет чистоты... нам, деревенщине полунищенской, полукрестьянской, – взыскательными быть не приходилось! На навозе, в полях, лугах и лесах, вместе с русским мужиком выросли! Мужиковиной надо объяснять и ту странность, что многие из нас с брезгливостью смотрели на чистку зубов и полоскание рта по утрам некоторыми студентами, преимущественно москвичами. Привычку эту я усвоил уже в очень почтенном возрасте, по совету одного врача и под влиянием лечебников. А между тем я доселе не знаю зубной боли, и все до одного зуба целы. Только в раннем детстве я едва припоминаю распухшую щеку и то, как дед заговаривал мою зубную боль. Этот ли заговор или же природа суть причина доселешней сохранности и безболезненности зубов моих, это остается для меня неизвестным. Кажется, не имел я привычки и употреблять мыло при умывании: пользовался одной водой. Но баню любил и неопустительно посещал ее каждую неделю, что делаю доселе, с хлестанием себя березовым веником, или парением при 60° температуре, – в пару, образующемся от бросания из ковша горячей воды на раскаленные камни (поддавание пара). Свое начало эта привычка париться получила еще в детстве, когда я обучался в Скопинском духовном училище. Хозяин квартиры, где я жил (его звали все «Паня Ломаный», настоящее имя и отчество: Павел Филиппович, фамилию не помню), – богатырь по сложению и силе, – обыкновенно всех, поступавших к нему на квартиру новичков, сам парил в своей бане на полке и потом бросал в находившийся перед баней над мелким

колодчиком (кадочкой) большой сугроб снега. Только в первый раз это было страшновато. А потом мы сами охотно проделывали эти штуки и с удовольствием барахтались в снегу, особенно в свежем и рыхлом.

Горячему водяному пару, по крайней мере хоть отчасти, быть может обязаны волосы на голове моей своим сохранением до сего дня, наперекор установившемуся общему мнению об академической, она же и монастырская, воде, как виновнице, по своей жесткости и насыщенности известью, преждевременной плешивости молодых студентов. Но опыт показывает, что многие, от роду никогда не парившиеся, до старости сохраняют свою шевелюру, а другие, хотя и позволяющие себе удовольствие паренья, даже в усиленной степени, щеголяют плешью. Поэтому как сохранение зубов должно объяснять не щеткой и мелом, а главным образом природой, так и за отсутствие преждевременной плешивости подобает благодарить не баню с ее парами, а отца с матерью.

То же самое я должен сказать и о зрении. При усиленной работе глаз, освещение, с точки зрения современной культурности и гигиеничности, было, можно сказать, непозволительное. Большим временем занятий была зима: сентябрь – март, когда читались источники и пособия на разных иностранных языках, писались и переписывались сочинения. Днем, во время лекционное, можно было, опуская лекции, работать у окна и за ясеновой конторкой. Но в вечерние часы занятий по необходимости приходилось сидеть на твердых ясеневых стульях вокзального стиля за массивными и длинными ясеневыми столами 1 ½ – 2 аршинной ширины. Не помню точно, на 2-х или 4-х визави полагалась одна свеча, – притом некоторое время с начала поступления в академию нашего курса, – сальная, с быстро нагоравшим фитилем, требовавшим постоянного употребления особых железных щипцов, которыми кто-либо должен был снимать нагар, – тусклым и дрожащим пламенем красноватого цвета, дымом и противным запахом сальной гари. Но этот, даже для всех тогдашних семинарий и училищ духовных анахронизм был скоро устранен: сальные свечи сменились калетовскими, хотя количественное распределение их осталось прежнее. Только «старшему» полагались отдельный стол и свеча – в спальне. Керосиновые лампы не употреблялись ни казенные, ни свои собственные, как это было потом. Несмотря на такое по-теперешнему можно указать некультурное и антигигиеничное освещение, и зрение мое доселе сохраняется в хорошем состоянии: лишь не очень давно я стал привыкать при чтении и писании, к постоянному употреблению стариковского пенсне с невысоким номером, кажется 18. И этим благом, как и двумя предшествующими, я обязан главным образом,

конечно, природе, и лишь отчасти быть может экономичности и так сказать воздержности в освещении, при усиленных работах глазами в юных годах.

Вставали с постели и пили чай, когда кто хотел. Общих и обязательных молитв утренних начальство не требовало, предоставляя это совести и воле каждого. Немногие ходили в Троицкий собор, молились там перед мощами преп. Сергия и прикладывались к ним. Лекции шли с 9-ти до 2-х часов, – пять лекций, официально по часу каждая, а на деле по 30–35 минут, – и только старшие профессора, привыкшие к дореформенным двухчасовым лекциям, ходили и на 40–50 минут (Амфитеатров, П. С. Казанский, В. Д. Кудрявцев, Д. Ф. Голубинский). На нашем богословском, и особенно на церковно-практическом отделениях было много пустых часов, которыми пользовались в первые два года для изучения новых иностранных языков, а в третий – для кандидатского сочинения. Незнание хотя бы одного из новых языков, особенно немецкого, было крайне редким исключением. Многие знали два, некоторые и три языка. К лекционному времени приурочивались и диспуты. К данным уже мной сообщениям о диспутах П. С. Казанского, С. К. Смирнова и Н. И. Субботина могу присоединить еще М. И. Соболева, защищавшего тезисы из магистерской диссертации на тему: «Действительность воскресения Господа нашего Иисуса Христа», в 1875-м году. Возражал Михаил очень занятно, но самих возражений не помню, как не помню и других оппонентов. При мне же был магистерский диспут Н. Ф. Каптерева в 1874-м году, но я или отсутствовал, или ничего не помню. К сказанному о докторском диспуте С. К. Смирнова, тогдашнего инспектора нашего, в дань исторической методе сплетничества и анекдота, могу сообщить пущенный после диспута рассказ о том, что при запросе Лаврова о кабинетной работе докторанта, сокрытой автором от читателя диссертации, остряк – доктор Страхов будто бы сказал сидевшим около него профессорам и студентам, указывая на занятую семью главным образом дочерью докторанта целую заднюю скамью или ряд стульев: «Вот его кабинетная работа». Анекдот пошлый, даже неприличный, во всяком случае неверно освещающий учено-профессорскую личность докторанта. Своими многочисленными и учеными капитальными работами по истории русской церкви С. К-ч в то время уже стяжал себе вполне заслуженную славу в ученом мире. И славу эту не только не затемняло, но, как и великому историку России – Соловьеву, удвояло и осиявало многочадие, столь же достопочтенное, как и ученое плодоношение. Анекдот этот, вероятно, был делом той же партийности,

что и возражения П. И. Горского. К сожалению диспутанты не озабочивались предварительно знакомить студентов не только со своими диссертациями, но даже и с общими их положениями или так называвшимися тогда и перед диспутами печатавшимися «тезисами». Приходилось слушать их abruptly, без всякой подготовки и интереса. И все же диспуты доставляли студентам превеликое и далее единственное в своем роде и ничем еще незаменимое удовольствие, при отсутствии кружковины и рефератов в самом студенчестве. Тем более приходится глубоко жалеть отмену докторских диспутов по совершенно чуждым науке мотивам, – и всячески желать скорейшего восстановления этого во всех отношениях полезного и нужного дела. Подспудность всего менее свойственна науке.

Послеобеденное время до 5-ти часов шло на прогулку, отдых в номерах и спальнях, у многих и на занятие чем-либо книжным, ибо ни рисованием ни музыкою у нас никто не увлекался, – и на чаепитие в общей столовой. С пяти часов до ужина, т. е. до 9-ти часов в будни и до 8-ми по праздникам, сидели в номерах за общими столами и при общих свечах, друг против друга. Громко разговаривать и курить, вообще мешать чем-либо занятиям не дозволялось. Потом ужин, а после него песни и танцы в столовой младшего курса, где стоял рояль, хотя ни одного порядочного игрока не было. А в нашем номере, в первом году, большей частью происходили горячие споры между некоторыми любителями упражнений в словопрении. Споры – без темы, предмета, системы и цели. Начинается с чего-нибудь, переходит к другому, третьему и т. д. до «небесной механики». Большинство, если не все, кроме самих спорщиков конечно, смотрели на эти словопрения как на развлечение и насмешливо. У нас даже было условлено нарочно ввязываться в спор, чтобы направлять спорщиков к «небесной механике», – и как только речь заходила о «небесной механике», спор считался оконченным, мы рукоплескали и расходились. Но и после этого спорщики нередко продолжали это дело с увлечением, невероятно высокими и громкими голосами, разгорячено. На нашем курсе это было только в течение первого года. Потом мне приходилось быть свидетелем подобных же дебатов между студентами младших курсов, когда я был уже на 4-м году «старшим» у них.

Примечания

¹ - Благотворно влиявшие наставники были и из других Академий. Из Петроградской – И. К. Смирнов (ныне Иоанн архиеп. Рижский), умевший не только ясно, кратко и отчетливо объяснить весь сполна славянский текст учительных и пророческих книг Ветхого Завета и, с присоединением греческого текста, Евангелий и Деяний, но и, что не менее важно, заставить учеников усвоить объяснения, – Киевской – свящ. Алфеев, глубокомысленно объяснявший первое послание Иоанна и послание к Римлянам и привлекавший учеников к самостоятельности, предоставляя им полную свободу предъявлять свои вопросы и недоумения, – и особенно свящ. Н. Ф. Глебов, поступивший в Московскую Академию, но перешедший в Казанскую и там окончивший курс, – знаток древних и новых языков, – прекрасный литургист, увлекавший любопытными историко-археологическими объяснениями богослужебных книг и чинов – редкостный гомилет, умевший выяснить величие ораторского гения Филарета, Иннокентия и, особенно, Иоанна Смоленского, – занимательный и основательный преподаватель руководства для пастырей, заставлявший читать в греческом подлиннике и славянском переводе Апостольские Правила и др. канонические памятники и подвергавший обсуждению разные казусы из пастырской деятельности и жизни. Он ходил в класс с огромной тетрадью, из которой каждый класс извлекал любопытные сообщения по преподававшимся им наукам.

² - Станным представляется мне теперь, что семинарское начальство почему-то не посылало, как это было в других семинариях, за благословением к архиерею – Алексею (Ржаницыну), – кажется, они были в натянутых отношениях. А сам я, по обычаю, не догадался это сделать.

³ - Этот странный отзыв объясняется может быть и какими-либо особенными обстоятельствами, мне сейчас неизвестными, заставившими Н. Ф-ча перебраться из Московской Академии в Казанскую, но всего вернее непомерным самомнением его: по-видимому, он считал себя философом и сначала неудачно преподавал философию и психологию; составил даже учебник по психологии, надо сказать правду – очень неважный. Но это не воспрепятствовало ему потом обнаружить редкостный талант преподавательский по литургике, гомилетике и пастырскому руководству.

⁴ - Имя помню может быть и неверно.

⁵ - В отличие от частных или специальных: 1-го октября, по случаю произнесения проповедей, именин, подачи кандидатских сочинений, магистерских диспутов. Преосв. Николай Варшавский, двумя курсами старше меня (30-го курса, 1871–1875 г.) сообщает, что эта выпивка называлась канонизацией, но на нашем и на всех позднейших курсах она именовалась просто «генеральной».

⁶ - Он потом окончил курс в Моск. Университете на медиц. Факультете и был врачом в Москве.

⁷ - Об этом речь далее.

⁸ - Продолжение См. Богословский Вестник 1914, Октябрь-Ноябрь, стр. 646 сл

⁹ - Уже в 4-м классе я писал на темы: Справедливо ли мнение Декарта, что бытие и мышление тождественны? – Критический разбор древнего скептицизма, – потом в 5 – 6 классах разные опровержения материализма, пантеизма, кальвинизма и пр. и пр. И все эти опыты заслуживали одобрения от наставников.

¹⁰ - Продолжение. См. Богословский Вестник 1915, Октябрь – Декабрь стр. 646 сл.

Содержание

Муретов М. Д. Из воспоминаний студента Московской Духовной Академии XXXII курса (1873–1877 г.)	1
профессор Митрофан Дмитриевич Муретов	
Примечания	119